

М. ИЛ. МИХАЙЛОВ

ЗАПИСКИ

1861—1862

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„БЫЛОЕ“
ПЕТРОГРАД,

1922

М. Ил. Михайлов

ЗАПИСКИ

(1861—1862).

Редакция и вступительная статья
А. А. Шилова

Издательство „БЫЛОЕ“
Петроград : : 1922.

М. Ил. Михайлов и революционное движение 60-х годов.

1. Арест М. И. Михайлова.—2. В III Отделении. Допросы и „признание“. Людм. Петр. Шелгунова и М. И. Михайлов.—3. История воззвания „К молодому поколению“.—4. Участие М. И. Михайлова в революционном движении и его популярность.—5. Записки Михайлова, как материал для характеристики его личности и как художественное произведение.

1. 1 сентября 1861 г. в квартире известного литератора и поэта Мих. Илар. Михайлова, жившего вместе с Ник. Вас. и Людмилой Петр. Шелгуновыми, вскоре после приезда его из-за границы, был произведен, по распоряжению III Отделения обыск, а 14 сентября, после вторичного, более тщательного обыска, Михайлов был арестован и увезен в III Отделение. И обыск и арест для самого Михайлова не могли быть особенно неожиданными: у него в продолжении 1861 г. были сношения с Вс. Костомаровым относительно печатания прокламаций; он только что привез из-заграницы отпечатанное воззвание «К молодому поколению»; он вел переговоры с Костомаровым относительно распространения этого воззвания в Москве и был так или иначе замешан в революционных делах. Уже после первого обыска Михайлов от знакомого узнал, что в III Отделении есть какие то компрометирующие его рукописи. Смутно тревожил Михайлова слух об аресте Вс. Костомарова, хотя предположение относительно его предательства не приходило ему в голову.

Но зато обыски и арест Михайлова были полною неожиданностью для всех, знавших его лично и знакомых с ним по его статьям и стихотворениям. «Арест Михайлова произвел большое впечатление, особенно в литературных кругах. Это был первый арест лица, уже имевшего известное общественное положение и популярное имя» (Н. В. Шелгунов, Воспоминания.—«Юбилейный Сборник Литерат. Фонда», с. 414). В это время Михайлов был хорошо известен в Петербурге. Знали его литературные круги, знало также избранное студенчество, в кружки которого Михайлов был вхож через Е. П. Михаэлиса, брата Л. И. Шелгуновой; еще больше знала его читающая публика по его повестям, переводам и, особенно, по его боевым статьям о женском вопросе; слух о последних, как свидетельствует сам Михайлов докатился до глухой провинции: в Иркутске какой-то архимандрит доказывал, что Михайлова «покарал Бог за то, что он хотел снять узда с женщин». Но Михайлова все знали как литератора, как отчаянного спорщика, как смелого и хлесткого публициста, но не как политического деятеля.

Многие не верили аресту Михайлова, особенно встречая его на свободе после первого обыска. «Михайлова взять, да ведь это курам на смех», пишет Н. А. Добролюбов. В своем дневнике за 1861 г. Ел. А. Штакеншнейдер по поводу распространения прокламации «К молодому поколению» сообщает, что в то время даже близкие друзья Михайлова не могли предположить, чтобы он распространял прокламацию. Узнав об аресте Михайлова, петербургские литераторы написали протест, и также Штакеншнейдер сообщает, что «в своем проекте протеста, отвергнутого за резкость выражений, П. Л. Лавров писал: «Михайлов на столько же виновен, насколько мы все виновны». Так он был убежден в невинности Михайлова» («Гол. Минувш.» 1916, №4, с. 45-46). Но прошла неделя после ареста... и в публике распространился слух, что Михайлов сознался во всем.

II. Как видно из «Записок» Михайлова, в III Отделении при первом допросе ему было пред'явлено обвинение: «во-первых, в сочинении прокламации к крепостным людям («К барским крестьянам», переписанной почерком Михайлова или очень похожим на него), во-вторых — в привозе из-за границы другого печатного воззвания «К молодому поколению» и в его распространении». Михайлов, увидав пред'явленное письмо Бостомарова, подтверждавшее самые худшие его подозрения, нашел удобным сказать на первом допросе, не говоря о происхождении прокламации «К молодому поколению», что из-за границы он действительно привез несколько экземпляров воззвания (именно десять), но не распространял их, а уничтожил, боясь ответственности; что Бостомаров видел у него только один экземпляр воззвания (что было совершенно справедливо); наконец, Михайлов попросил показать компрометирующие его бумаги, найденные у Бостомарова. «Я никак не могу сказать, — пишет он, — чтобы поступал умно в III Отделении, но этому не мало способствовало опасение, что откровения, сделанные уже Бостомаровым (как я сразу увидел из слов Горяяского), могут сопровождаться еще большими откровениями».

III Отделение располагало, однако, более точными сведениями о воззвании «К молодому поколению»: Бостомаров сообщил все, что знал; ему Михайлов действительно показал один экземпляр, но прибавил, что к сентябрю может достать их сколько угодно и предложил ему взять для распространения в Москве 100 экземпляров. На втором допросе Михайлову были пред'явлены обе прокламации, найденные, якобы, в бумагах Бостомарова: «К барским крестьянам» (Н. Г. Чернышевского) и «К солдатам» (Н. В. Шелгунова). Это обстоятельство смутило Михайлова возможностью новых компрометирующих подробностей и заставило признаться, что из двух рукописей Бостомаров только одно («К барским крестьянам») мог взять у студ. Сороко, а другое («Русским солдатам от их доброжелателей поклон») получил от него лично. Во избежание дальнейших распросов Михайлов указал на строки, написанные им в последнем воззвании.

При дальнейших допросах Михайлов ясно видел разверзающуюся пред ним пропасть, и страх, что в дело будет впутан еще *кто-нибудь*, заставлял его очень сильно тревожиться. Пред'явление печатки, принадлежавшей Шелгуновой, которою были запечатаны конверты с прокламацией «К молодому поколению», пред'явление самих конвертов, надписанных женскою рукою, намеки, что в деле принимала

участие сама Шелгунова, которая будто бы уже арестована, и, наконец, грозный упрек, брошенный в лицо Костомаровым, что Михайлов знает *все*, но молчит, заставили Михайлова изменить свои показания и принять на себя не только привоз и распространение прокламации, но и самое ее составление. «Длитель эту сцену очной ставки в экспедиции мне стало омерзительным. Я боялся, что она может принять еще более характер и уже не в ущерб мне, а, может быть, и другим».

Опасения, как бы в дело не впутали *«других»*, как бы *«кто-нибудь»* еще не пострадал, решили участь Михайлова. *«Другие»*, *«кто-нибудь»*, о судьбе которых так он волновался были, конечно, Людмила Петровна Шелгунова и Николай Васильевич Шелгунов: арестом Шелгуновой пугал Михайлова Горянский; на ее участии в деле настаивал Шувалов. Не входя в рассмотрение биографии Михайлова, здесь необходимо вскрыть отношения, существовавшие между Людм. Петр. Шелгуновой и Михайловым, о которых прозрачно намекали писавшие о них.

Познакомившись с Людм. Петр. Шелгуновой зимою 1855—1856 г. в маскарade (Л. П. Шелгунова, Из далекого прошлого, с. 53 сл.), Михайлов связал с нею всю свою жизнь. Знакомство скоро перешло в дружбу и сменилось обоюдною любовью. Произошло то, что бывало довольно часто в шестидесятых годах. Не желая стеснять свободного чувства своей жены, полюбившей другого, Н. В. Шелгунов уступил место своему другу, сохранив, однако, свои дружеские отношения и со своей прежней женою, и со своим другом. Так теоретический вопрос о свободе чувства и о равноправии мужа и жены осуществлялся в применении к практической жизни. История Некрасова и Панаевой, д-ра Бокова и проф. Сеченова, Лопухова и Кирсанова (*«Что делать?»* Чернышевского) повторилась и в жизни Шелгунова и Михайлова. Михайлов поселился в одной квартире с Шелгуновыми, проводил с ними все время до самой ссылки, то в имении Людмилы Петровны, то в Лисине, где служил Шелгунов, то уезжая с ними за границу. Дружеские отношения между этими тремя людьми не нарушались. Михайлов еще более, чем прежде, любил Шелгунова, который постоянно в своих письмах к Людмиле Петровне говорил о Михайлове в самых дружественных тонах. «Мужа она (Людмила Петровна),— заносит в своем дневнике Е. А. Штакеншнейдер («Гол. Мин.» 1915, № 11, с. 168)—называет «Николай Васильевич» и говорит ему «вы»; он называет ее «Людилькой», но тоже говорит «вы». У Михайлова и Шелгуновой был сын Михаил, тот самый Миша, «милый соловушка Мишутка», о котором с такой нежностью говорит Михайлов в письме из крепости, вспоминая, как он во время своего ареста слишком спокойно простился с ним («Современ.» 1912, № 9, с. 207, 210—Из переписки М. Л. Михайлова); на сходство ребенка с Михайловым обратил внимание еще жандармский полковник Дувинг, приехавший на Казаковский принск арестовать Шелгуновых («Полн. собрание сочинений и писем А. И. Герцена, т. XVI, с. 120); этому же Мише завещал все свои рукописи М. И. Михайлов¹⁾ («Гол. Мин.» 1913, № 11, с. 253).

Указанные отношения к Шелгуновой объясняют, почему Михайлов предпочел лучше дать ложное показание и взвалить всю вину на себя, чем впутать в дело «любовь и дружбу». Любовь к Людмиле Петровне и боязнь запутать ее в политическое дело, чувство дружбы к Николаю Васильевичу и нежелание подвергнуть его

опасности, решили дело. «Михайлов без памяти влюблен в Шелгунову,—записывает в дневнике Е. А. Штакеншнейдер,—Михайлов от нее без ума. Что чувствует к нему Шелгунова, не знаю. Она с ним ласкова. Они часто просиживают целые вечера где-нибудь в углу вдвоем, и о чем говорят—не знаю. Я думаю, что если бы Шелгунова ему сказала броситься в огонь, он бы бросился с радостью; если бы она убила кого-нибудь, он бы был счастлив взять грех ее на себя». Эти слова оказались для Михайлова пророческими, и в 1861 г. он предпочел лучше идти на каторгу, чем хоть одним словом намекнуть на соучастие Л. П. и Н. В. Шелгуновых.

Желая поскорее покончить с томившими его допросами, Михайлов после «омерзительной» очной ставки с Костомаровым, решил дать подробное показание. «Ты знаешь уже это показание,—пишет Михайлов Л. П. Шелгуновой,—в его позднейшей форме. Прежде чем оно приняло ее, оно было вдвое короче... Так, например, у меня сначала было глухо сказано, что я привез воззвание с собою, а о происхождении его не говорилось. Это прибавлено. Так точно не упоминалось в нем и вашего имени. Но Шувалов и все его клеветы говорили, что я приехал вместе с вами и что в Лондоне вы должны были находиться вместе со мною. Надо было и на это ответить». В этом показании Михайлов, чтобы как-нибудь не запутать своих друзей, особенно подчеркивает, что, поехавши за границу вместе с Шелгуновыми, он простился с ними в Германии и посетил *одни* сначала Голландию, а потом Англию. «Здесь в Лондоне, я виделся довольно часто с Герценом и Огаревым, с которыми давно уже знаком. Однажды, в разговоре с ними по поводу цензурных стеснений, я выразил мысль, что смягчению их содействовало бы усиление тайной прессы в самой России. Разговор невольно перешел к возможности печатать за границей издания с обозначением на них, что они печатаны в Петербурге. Тогда Герцен предложил мне написать для опыта статью с этой целью. Так как в течение всей моей почти пятнадцатилетней литературной деятельности это был первый опыт написать что либо политического содержания, то опыт вышел крайне не удачен, из нескольких страниц, набросанных мною, не осталось и половины в воззвании «К молодому поколению»,—так что я не мог бы по совести никак выставить под ним своего имени, если бы оно по содержанию своему могло быть напечатано в России явно» (М. Лемке, Политические процессы М. И. Михайлова, Д. И. Писарева, Н. Г. Чернышевского, с. 21. СПб., 1907).

Намек, брошенный в этом показании—«я не мог бы по совести выставить под воззванием своего имени»—теперь понятен нам, но, конечно, не мог быть понятым тогда, в III Отделении. Ложное признание было так правдоподобно, и так естественно дополняло донос Костомарова, что III Отделение было вполне удовлетворено им и даже не привлекало Михайлова за попытку напечатать воззвания «К крепостным людям» и «К солдатам»; между тем сходство почерка Михайлова с почерком воззвания «К крепостным людям» показывало, если не на авторство Михайлова, то на какую-то близость к настоящему составителю, а сам он указал на свое участие в составлении прокламации «К солдатам».

²⁾ Мих. Ник. Шелгунов, поэт, переводчик (+).

III. Раз признавшись в составлении, вместе с Герценом и Огаревым, прокламации «К молодому поколению», Михайлов остался на этом признании до конца. И сам он, и Н. В. Шелгунов, привлеченный к дознанию в 1863 г., и Герцен, настолько сохранили тайну, что Михайлов так и вошел в историю революционного движения, как автор воззвания «К молодому поколению». Только в 1905 г. Л. Ф. Пантелеев, на основании неизданного отрывка воспоминаний Шелгунова, в примечании к своей книге «Из воспоминаний прошлого» (ч. I, с. 330) категорически заявил, что автором воззвания был не Михайлов, а Шелгунов, подтвердив вторично это в особой заметке («Былое» 1906, № 2, с. 290). Теперь, с напечатанием отрывка записок Н. В. Шелгунова («Гол. Мин.» 1918, № 4—6, с. 66), внешняя история прокламации совершенно ясна.

В своих записках Шелгунов рассказывает, что прокламация зимою (январь-март) 1861 г. была написана им. О ней, кроме Михайлова и, конечно, Людмилы Петр. Шелгуновой, никто не знал. Сам Шелгунов не говорит об участии в составлении прокламации Михайлова, но, видимо, последний принимал участие, особенно, если принять во внимание его показание в Сенате, что те мысли, которые относятся к социальным стремлениям России, принадлежат ему¹⁾. Это те места прокламации, где Европа противопоставляется России, где говорится о ее особом пути, о том, что неудача 1848 г. не должна нас смущать в стремлении произвести переворот, что мы народ запоздалый, и в этом наше счастье, и что у нас существует община, которой нет в Зап. Европе, и при которой каждый гражданин может сделаться земельным собственником. (М. Лемке, Полит. процессы, с 41—44, 60). Не имея возможности отпечатать прокламацию в России (тайная типография Костомарова была не велика, шрифта в ней было мало, а прокламация скорее походила на журнальную статью, чем на воззвание), Михайлов и Шелгунов решили ее отпечатать в герценовской типографии, воспользовавшись поездкой за границу. Герцен не одобрил ее содержания: «мы заклинали Михайлова не печатать своей прокламации», — писал он впоследствии («Колокол» 1868, дек). «Но мы, — вспоминает Шелгунов, — не переживали 1848 г. в Европе, подобно Герцену, и потому верили в то, во что он уже не верил. Мы пенились, Герцен перестал пениться. Конечно, правда оказалась на стороне того, кто пениться перестал. А пока мы пенились и верили, и считали себя «накануне». Так характеризовал Герцена, Михайлова и себя впоследствии Н. В. Шелгунов («Гол. Мин.» 1918, № 4—6, с. 66).

Прокламация, несмотря на уговоры Герцена, была все-таки отпечатана в 600 экз. еще до приезда Шелгунова в Лондон, и Михайлов, возвращаясь в Россию, заклеил ее в дно чемодана и благополучно привез ее в Петербург в августе 1861 г. При первом обыске запрятанная в печке прокламация не была случайно найдена, но, узнав об аресте Костомарова, которому Михайлов показывал ее и предлагал для распространения в Москве, Шелгуновы и Михайлов посвятили в тайну брата Людмилы Петровны — Евг. Петр. Михаэлиса («Веня» — в «Записках») и А. А. Серно-

¹⁾ Михайлов признал за свое от слов: «А эти плодящиеся у нас конституционные и экономические стремления...» до слов: «Без веры нет спасения, а вера наша в наши силы велика».

Соловьевича и быстро распространили ее, как в Петербурге, рассылая по почте и разнося по квартирам, так и в провинции путем пересылки в запечатанных конвертах.—Такова внешняя история составления и распространения прокламации «К молодому поколению».

Точно установив сравнительно незначительную долю участия Михайлова в составлении прокламации, нам не для чего здесь подробно говорить о ее содержании и идейном происхождении¹⁾. Укажем кратко, что по содержанию своему она эклектична и наиболее близка к статьям Герцена-Огарева, являясь дальнейшим из них выводом. Мысли об особом пути России, отличном от Запада, о спасительности нашей отсталости, о чудодейственной силе нашей общины — это мысли Герцена-Огарева, отчасти и Добролюбова, и Чернышевского. Дальнейший шаг Шелгунова-Михайлова—мысль о необходимости политического переворота, произведенного народом, которого должно подготовить к нему пропагандой. Последнее положение отводит составителей прокламации от Герцена и сближает их с кружком «Современника» и, в частности, с Чернышевским.

О даровании конституции сверху мечтали во второй половине 50-х гг. Герцен и его партия, возлагая свои надежды на дворянство и великодушие Александра II и подсказывая последнему свои конституционные проекты. Ср. дворянские адреса, статьи и проекты Герцена-Огарева, проект Н. А. Серно-Соловьевича, письмо Мартынова. В более развитой форме та же мысль развивается в «Великоруссе» (1861): конституция не даруется свыше самим монархом по его желанию, а вводится под давлением просвещенной части русского общества, вполне легальными средствами и без насильственного переворота.

Политический переворот,—говорят составители воззвания «К молодому поколению»,—не может быть произведен Александром II и его правительством: они не понимают народа, а потому долой их. «Нам не нужна власть, оскорбляющая нас... нам нужен не царь, не император, помазанный маслом в Успенском соборе, а выборный старшина, получающий за свою службу жалованье». Переворот должен быть произведен революционным путем; смерть 100.000 помещиков не должна никого смущать. Эту революцию произведет народ, который сам поймет свои потребности и потребности страны; а для этого, пусть молодое поколение, как наиболее чуткое и дееспособное, перейдет, наконец, от слов к делу и посредством тайной пропаганды будет спланивать недовольных, открывать глаза невидящим. Вот тот дальнейший шаг, который сделала прокламация «К молодому поколению». О необходимости не политического, а социального переворота, (о чем будет говорить «Молодая Россия», Чернышевский, каракозовцы, народники) Шелгунов-Михайлов не говорят, и их прокламация может быть названа наиболее ярким выражением радикальной, но не социалистической, интеллигенции нач. 60-х гг., или вернее буржуазно-демократической партии, вышедшей не из левого дворянства, а из более демократических слоев русского общества, из «разночинцев». Недаром Шелгунов к «аристократии

¹⁾ Более подробный анализ прокламации дан в статье о настоящем авторе ее—Н. В. Шелгунове при воспоминаниях его, приготавливаемых к печати.

мысли» причисляет литераторов, поэтов, ученых, художников, фабрикантов, т. е. тех людей, «которые производят вещи полезные для страны и снабжают ее предметами наиболее нужными».

IV. В чем же, кроме совместного с Шелгуновым составления прокламации «К молодому поколению», выразилось участие Михайлова в революционном движении? Приписываемый Михайлову раньше В. Я. Богучарским совершенно бездоказательно «Ответ Великоруссу», напечатанный в № 107 «Колокола» от 15 сент. 1861 г., как теперь выяснилось, совершенно не принадлежит ему: в письме к Огареву от 1 сентября 1861 г. (Полное собрание сочинений и писем А. И. Герцена, т. XI, с. 225—226) Герцен говорит об «Ответе», как о статье, присланной Н. А. Серно-Соловьевичем, и не советует Огареву печатать ее.

Сохранилось в воспоминаниях П. Д. Боборыкина («Мин. Годы» 1908, № 5—6, с. 58) любопытное место, указывающее на связь Михайлова с тогдашним студенчеством. В день объявления манифеста 19 февраля 1861 г. Боборыкин попал в студенческий кружок, в квартиру, где жил Е. П. Михаэлис с товарищем. «Там же нашел я и Михайлова за чаем. Они только что читали вслух текст манифеста и потом все начали разбирать его по косточкам. Никого он не удовлетворял.. Сильнее и ядовитее всех говорил Михайлов. Он прямо называл все это ловушкой и обманом и не предвидел для крестьян ничего, кроме новой формы закрепощения. Тут в первый раз, тон и содержание его протестов показывали, что этот человек уже «сжег свои корабли». Несмотря на последние слова Боборыкина, объясняемые позднейшею характеристикой Михайлова, его поведение не является чем-то особенным: манифестом были недовольны очень многие, не только лица принадлежавшие к радикальным кружкам, но и группы значительно правее последних.

Припомним еще указания самого Михайлова на строки, написанные им в прокламации «К русским солдатам», а также те сношения, которые он имел с Костомаровым по поводу печатания прокламаций Чернышевского и Шелгунова. Следует только иметь в виду, что здесь мы имеем довольно мутный источник—пресловутое письмо Костомарова Н. И. Соколову, целиком направленное против Чернышевского (М. Лемке, Политич. процессы, с. 245 сл.).

В своем письме Костомаров говорит о Михайлове, как о посреднике между ним и Чернышевским. Впервые Михайлов привез его к Чернышевскому на дом с той целью, чтобы переговорить о возможности напечатать воззвание «К барским крестьянам». Чтение этой прокламации, совместно с Михайловым, и происходило в тот самый вечер. Костомаров был ошеломлен кровожадностью прокламации, ничего не мог возразить, и Михайлов увез его от Чернышевского, захватив с собою и рукопись воззвания. На другой день Костомаров с Михайловым еще раз прочли «этот каннибальский призыв к резне». «Мне,—пишет Костомаров,—просто было тошно слушать... Михайлову тоже, очевидно, было неловко и тяжело. Один Шелгунов, тоже присутствовавший на чтении, скакал и восклицал, как Давид пред ковчегом завета. Много и долго говорили мы с Михайловым об этом воззвании. Оба мы признавали полную необходимость помочь, как умеем, крестьянскому горю, вразумить мужика, что его во многом обошли и обманули; но

вразумить вовсе не с тем, чтобы он с топором в руках стал добывать себе «землю и волю»; поэтому мы положительно осудили текст воззвания, составленного Чернышевским».

По совету Костомарова Михайлов поехал к Чернышевскому и убедил его сделать ряд смягчающих поправок в прокламации, на что тот согласился с большою неохотою. По словам Костомарова, исправленная прокламация, за его отъездом, была передана Михайловым студенту Иос. Бает. Сороко для тайного ее отпечатания.

Кроме прокламации «К барским крестьянам», Костомаров прослушал в тот же, а может быть и в другой приезд, «манифест» («Русским солдатам от их доброжелателей поклон...»), составленный по проекту Чернышевского Шелгуновым. «Но из его писаний,—говорит Костомаров,—вышло чорт знает что,—такая чепуха, что в ней и мужик ревет, и корова ревет, и сам чорт не разберет, кто кого дерет. Недовольные этим опытом пробовали и мы с Михайловым написать что-нибудь, но у нас вышло едва ли даже не хуже. У Михайлова какой то философский трактат, а у меня—не то полковой приказ, не то марсельеза. Так что, за неимением лучшего, поневоле приходилось удовольствоваться произведением Шелгунова». Впоследствии, однако, Шелгунов еще раз десять переписывал «свое послание. Михайлов поубавил в нем метафизики, повыкинул слишком яркие санкюлотизмы,—и я взял рукопись» (М. Лемже, Политич. процессы, с. 256—260). Вот, что рассказывает Костомаров о своих сношениях с Михайловым.

Разбор этого письма, сделанный Чернышевским, для нас не может быть убедительным. Чернышевский отрицал все и даже писал, что не мог иметь никаких дел с Михайловым, кроме чисто литературных, так как знал его, как человека, мало интересующегося политикой. Конечно, Чернышевский в своей защите и не мог поступить иначе. Но, отбросим многочисленные «бытовые подробности», которыми уснащает свое письмо Костомаров. Факты, признаваемые самим Михайловым, все-таки останутся фактами. Рукопись воззвания Чернышевского, «К барским крестьянам», Михайлов действительно передал Костомарову через студента Сороко; возможно, что он и переписал ее сам. Прокламация «К солдатам» действительно была составлена Шелгуновым («Гол. Минувш.» 1918, № 4—6, стр. 66). Сходство начал обеих прокламаций действительно позволяет предполагать идейное руководство Чернышевского. Михайлов принимал участие в ее составлении—его указание на строки, им написанные,—и действительно передал лично рукопись Костомарову.

Обратим внимание, что Михайлов в письме Костомарова все время является, так сказать, «правее» Чернышевского и Шелгунова: «ему было неловко и тяжело». «Михайлов осудил текст воззвания», «повыкинул слишком яркие санкюлотизмы», и т. п. Припомним также, что и в воззвании «К молодому поколению» Михайлов признал своими те мысли, которые касаются социального положения России (см. выше, стр. 7), а не политические требования.

Участие в составлении двух прокламаций, передача их для печатания, печатание, привоз и распространение третьей, да несколько резких политических

стихотворений¹⁾— вот все, в чем выразилась революционная деятельность Михайлова. Думается, что в 1861 г. он и не мог быть замешан в какие либо еще другие революционные предприятия, оставшиеся нам неизвестными. С современной точки зрения все это не очень значительно. Конечно, за немногими исключениями (ср. напр. Заичневского и участников польского восстания), почти все революционное движение нач. 1860-х гг. не выходило из рамок литературы, публицистических статей, разговоров, составления и распространения прокламаций; только во втор. половине шестидесятых годов мы видим уже попытку перейти от слов к действию.

Из всего сказанного можно видеть, что роль Михайлова в революционном движении, была не велика. Правда, арест Михайлова прервал его деятельность в самом начале, но едва ли он мог представлять впоследствии яркую и крупную фигуру. Идейный политический багаж его не был велик, да и к увеличению его у Михайлова не было стремления. Его сферою была литература, в частности западно-европейская: «другого подобного знатока, пишет Шелгунов, тогда не было. Михайлов был ходячая библиография иностранной литературы: не было такого поэта или романиста, которого бы он не знал». Шелгунов сравнивает Михайлова с Чернышевским, считая его таким же знатоком в изящной литературе, каким был Чернышевский в литературе политической, экономической и философской и в истории.

При таком уклоне интересов Михайлова его участие в революционной деятельности не производит впечатления глубокого. Это скорее дело увлечения, быстрого порыва, может быть, даже моды, чем серьезной обдуманности. Слава, которою в то время пользовался литератор Герцен, его политическое влияние, невольно побуждало многих к подражанию. Литераторы, критики, публицисты, сделались руководителями и создателями общественного мнения. К их голосу прислушивались не только либерально настроенные круги, но и правительственные сферы. Не мудрено, что при таких обстоятельствах, Михайлов, под влиянием своего друга Шелгунова, настроенного более общественно, мог почувствовать себя революционером и принять участие в пробудившемся общественном движении. Увлекающийся по своей натуре, стремящийся к яркому, захлестнутый общественным подъемом, Михайлов все-таки остался поэтом, литератором, в лучшем случае, публицистом, но не революционером. Печатаемые его «Записки», как нельзя лучше, подтверждают это положение. Они интересны для характеристики личности самого Михайлова, его дела, но в них напрасно искать революционных знакомств Михайлова, картины революционного движения; в них очень много психологии, беллетристики, этнографии, но менее всего политики. И стоит только сопоставить его «Записки» с воспоминаниями Н. В. Шелгунова, чтобы увидеть разницу между нами и совершенно различный подход к окружающей жизни.

Но на чем же тогда зиждется известность Михайлова в истории революционного движения? Почему современники так много говорят о нем? почему ни одна

¹⁾ Стихотворения эти печатаются нами в издаваемом Пушкинским Домом альманахе «Радуга».

история революционного движения не забывает его имени? Мы уже говорили о той неожиданности, какою был для общества арест Михайлова. Политическая известность Михайлова была создана не его политической деятельностью, а его процессом и рядом сопутствующих ему обстоятельств, не имевших к самому Михайлову никакого отношения. Напомним, что его арест был первым политическим арестом, что его популярность, как поэта и публициста, была очень велика. Суровый приговор к каторжным работам, гражданская казнь его 14 декабря, создали Михайлову ореол политического мученичества. «Михайлов, сосланный на каторгу,— пишет Шелгунов,— стал святым даже для тех, кто не прочел ни одной его строчки. Да и какие тут строчки. В воздухе чувствовалось политическое электричество, все были возбуждены, никто не чувствовал даже земли под собою, все чего-то хотели, куда то готовились идти, ждали чего-то, точно не сегодня, а завтра явится неведомый Мессия... И вдруг среди этого всеобщего возбуждения, неожиданный удар грома и внезапно вырванная жертва. Каждый точно чувствовал в Михайлове частичку себя, и процесс его стал личным делом всякого. Карточки его раскупались на расхват; у Сената толпились массы, чтобы встретить и проводить его...» («Гол. Мин.» 1918, № 4—6, стр. 64).

Еще большую роль в создании политической популярности Михайлова сыграли и первые студенческие волнения 1861 г. Месяца не прошло после распространения прокламации «К молодому поколению», как возникли студенческие волнения, явившиеся как бы ответом на призыв перейти от слова к делу. Конечно, на самом деле и причина студенческих волнений, и повод к их возникновению совершенно не были связаны с прокламацией. Они лежали глубже. Но для современников, не имевших возможности разобраться в происходившем, не знавших всех деталей, студенческое движение в Петербурге слагалось из двух моментов: появление заграничной прокламации и демонстративное шествие студентов к квартире попечителя. Студенческое движение, как первая массовая политическая демонстрация, вызвало огромный интерес: на него смотрели, как на начало революции; ему посвятил Герцен ряд горячих статей в «Колоколе»; из-за них готов был прервать свой отдых в Ливадии и приехать в Петербург сам Александр II. Волнения перебрасываются на другие университетские города. Москва, Казань, Харьков, Киев как бы вторят Петербургу; в студенческих демонстрациях принимает участие офицерство; происходят массовые аресты и избиения полицией демонстрантов—и все это как будто следствие воззвания Михайлова «К молодому поколению», того—самого Михайлова, засаженного в тюрьму и окруженного ореолом мученичества. Немудрено, что в широкой публике распространился слух, что волнения в университете были произведены Михайловым, что он «всем студентам голова». Об этом рассказывает сам Михайлов в «Записках», как и о другом слухе, что студенты хотят отбить его от сопровождавших его жандармов и освободить его. Наряду с его портретами широко распространяются стихи Утина, обращенные к Михайлову («Из стен тюрьмы, из стен неволи...»), и ответ студенчеству самого Михайлова («Брежно, дружно вас в объятья...»). И долго еще эти стихи были популярны в студенчестве, которое распевало их—первые на мотив «Коль славен наш Господь в Сионе», а вторые—на мотив «Не людно наше море».

V. Впервые с «Записками» Михайлова читатели могли познакомиться из статьи Н. Белозерского «От Петербурга до Нерчинска» («Русск. Мысль» 1902, № 12), дающей изложение их соответствующих глав. Изложение первых глав «Записок», до отправления Михайлова в ссылку, дал В. Я. Богучарский (Материалы для истории револ. движения 1860-х гг. в России, Париж). Затем в 1906 г. «Записки» сразу были напечатаны полностью, но с цензурными урезками, и в «Русском Богатстве» (1906, №№ 6—9), и в «Русской Старине» (1906, № 8—10). Как был напечатан текст в «Русском Богатстве», по копии или по подлинной рукописи—неизвестно. Издан он во всяком случае неисправно. Достаточно указать, что во всем тексте «Записок» тщательно вытравлены все личные обращения к Людм. Петр. Шелгуновой, придающие «Запискам» особую прелесть интимности. Трудно сказать, зачем понадобилось редакции так искажать текст, так как отношения Михайлова к Шелгуновой ни для кого, кажется, не являлись особой тайной. Совершенно не оговорены также пропуски: были ли они следствием цензурных сокращений или произведены по каким другим соображениям.

В «Русской Старине» «Записки» напечатаны более полно, с дополнениями в разных местах, с личными обращениями к Шелгуновой, с раскрытием многих имен, обозначенных в «Русском Богатстве» только инициалами, но за то с большим количеством грубейших текстуальных ошибок. И тоже неизвестно, был ли текст напечатан по копии или оригиналу; только в примечании (№ 9, с. 537) мельком указано, что «в доставленной в редакцию рукописи г-жи Шелгуновой недостает одной страницы», но что собою представляла рукопись, редакция ничего не говорит.

Для настоящего издания в основу положен текст, напечатанный в «Русской Старине» конечно, исправленный после тщательного его сопоставления с текстом «Русского Богатства». К сожалению, несмотря на поиски, нам не удалось найти ни более полного текста рукописи без сокращений, ни подлинной рукописи. Особенно досадно, что нельзя восстановить полного описания гражданской казни Михайлова 14 декабря, которое несомненно было в «Записках», так как никто из Шелгуновых на казни не присутствовал.

«Записки» Михайлова являются, пожалуй, самым ценным и самым художественным произведением из всего его литературного наследия. Беллетристика его основательно забыта и ее не могли воскресить даже новые издания сочинений Михайлова. Помнят о его переводных стихотворениях, да и то многие из них уже потеряли имя своего переводчика. Михайлов не обладал первоклассным литературным талантом, и его рассказы и повести, с удовольствием читавшиеся современниками, производят теперь впечатление не ярких, скучных, растянутых. «Записки» же его имеют все достоинства других его произведений без их недостатков и должны считаться одним из самых ценных, своеобразных произведений мемуарной литературы.

«Записки» были написаны Михайловым по свежему впечатлению, на Казаковском промысле (куда прибыл он 11 марта)—тотчас после приезда, т. е. в марте—июне 1862 г. «Я начал писать этот длинный рассказ, когда горы, обступившие со всех сторон наш золотой промысел, были еще совсем голы, а лощина, где он

выстроился, покрыта снегом... Оканчиваю его уже посреди лета. Легко сказать,—ведь уж полгода, как я простился с тобой, и три с небольшим месяца, как я на месте ссылки».

Писал Михайлов не для себя, не для будущего, не для оправдания себя или назидания потомству, а для Людмилы Петр. Шелгуновой, с которой он был связан интимно и об отношениях к которой говорилось выше. «Я рассказываю все мелочи только для тебя, и знаю, что ты не соскучишься над ними, как соскучился бы всякий другой, как соскучился бы их описывать сам я, если бы писал не по твоему желанию и не для тебя. Я, как ты знаешь, никогда еще не занимался так долго своею особой, но до конца моих рассказов уже не далеко, и я стану продолжать и кончать, как начал».

При писании «Записок» на месте Михайлов пользовался своею дорожною записною книжкою. «Когда я в первый раз вынул свою записную книжку и стал в ней писать карандашом, Каменев (сопровождавший Михайлова жандарм) спросил меня: «не жизнь ли вы свою описываете?» Я отвечал утвердительно, и он потом обыкновенно говорил мне при каждом удобном случае: «А что, записали про то, как опрокинулись? А про то, как смотритель содрал за студень целковый, не забыли?».

Все эти обстоятельства делают «Записки» очень точными и достоверными, в отличие от многих мемуаров, написанных авторами на склоне лет. Конечно, как и все мемуары, они субъективны, и даже, может быть, более, чем многие. «Записки» не касаются общей картины шестидесятых годов; историк революционного движения найдет в них мало материала, кроме материала о самом Михайлове. На первом месте он сам, факты его жизни, его встречи, его переживания, его настроения. Да это и понятно. Ведь писаны они не для публики, а для любимой женщины, которая просила его, как можно подробнее и точнее написать обо всем, что произошло со времени разлуки. И Михайлов добросовестно вспоминает обо всем, даже о том, о чем он не будет писать: «Я вписываю эту встречу для того, чтобы ты напомнила мне при случае рассказать тебе подробно трагический конец этого белокурого господина».

Близость к описываемым событиям и желание описать все, как можно подробнее, придает «Запискам» особую точность не только в передаче фактов (фактических погрешностей в «Записках» не замечается: ни имена, ни даже числа не перепутаны), но, что еще более важно, и точность в передаче душевных настроений и переживаний за время почти годовой разлуки. Собственно говоря, «Записки» Михайлова—не дневник и не записки, а одно большое письмо, и, как письмо, прекрасно передает душевные настроения. В процессе писания Михайлов как бы снова переживает все, что было им пережито: «воспоминание об этом гнусном утре (о втором обыске)—пишет он,—до сих пор возбуждает во мне желчь... у меня теперь от одного того, что я припомнил, сохнет во рту, как сохло в то утро». Еще более свидетельствует о том же и самый тон «Записок», изменяющийся соответственно с описываемыми эпизодами. Вот эта то психологическая правдивость и делает «Записки» Михайлова одним из наиболее ценных по искренности произведений мемуарной литературы.

Какой то растерянный в начале, потом нервный, беспокойный, желчный и озлобленный тон при описании ареста и пребывании в III Отделении резко отличается от более спокойного тона дальнейших страниц.

Читая «Записки» Михайлова и сравнивая их с другими мемуарами, описывающими арест, допросы и заключение, невольно думаешь, что Михайлов слишком преувеличил те неудобства, с которыми ему пришлось столкнуться. Об'ективно говоря, — в III Отделении отнеслись к нему с уважением. Ведь это был первый политический преступник, человек из общества, литератор, известность, лицо, о котором хлопотала группа писателей. Все это создавало вокруг Михайлова сравнительно приличную обстановку, которая ему самому, конечно, казалась ужасной. Он тоже чувствовал себя первым политическим преступником, и это не могло не отразиться на его самочувствии: ему не с чем было сравнивать свое заключение, что могли делать многочисленные «политические преступники», последовавшие за ним. А между тем оторванность от домашней обстановки, от привычной работы, от известного комфорта, который он так любил, не способствовали, конечно, его хорошему настроению. Да, кажется, что Михайлов брюзжит по поводу жесткого белья, скверного обеда, огурца, застывшего в говяжьем сале, — на все эти мелочи он, может быть, инстинктивно обращал большее внимание, чтобы отвлечься от того тяжелого чувства, которое вызывали в нем допросы. Боязнь за близких — Шелгуновых, полная неизвестность относительно их, хождение над пропастью, благодаря показаниям Костомарова, постоянная боязнь, что вот вдруг все откроется, что он сам каким нибудь неосторожным словом погубит своих близких. А тут — ползучие допросы, чужие руки, роющиеся в интимной жизни, чужие, отталкивающие лица, прочитывающие интимные письма, намеки на то, что им все известно, — все это, конечно, создало такую нервную обстановку, которая не могла не отразиться на второй главе «Записок». Боязнь выдать что либо своею неосторожностью, быть взятым врасплох, заставляет Михайлова как бы забегать вперед в своем сознании. Скорее написать, чтобы отвязались! Конечно, III Отделению многое было известно, до многого они могли додуматься сами из сопоставлений; но все таки, если можно выразиться, они деликатничали с Михайловым. Им нужны были формальные улики, а таковых он не давал, ведя их по ложному пути. Была уверенность, но не было фактов, и потому в III Отделении могли происходить несколько комические сцены допросов, если представить и допрашивающего и допрашиваемого, кричащих друг на друга и доходящих до злости от взаимного упрямства:

— «Как вы ни запирайтесь, а г-жа Шелгунова знала об этом деле. Это мне известно, как нельзя лучше.

— Не знала.

— Нет знала!

— Нет, не знала!!

— Нет, знала!!!

И т. д. до злости».

Но вот, наконец, допросы кончились. Михайлов переведен в крепость. Шуваловы, Путилины, Горянские, Бранцы остались далеко. Перед Михайловым — пер-

спектива суда, где обстановка будет другая, более спокойная. И сам Михайлов делается как то ровнее, спокойнее. Даже аппетит у него появляется впервые после ареста, и он с юмором описывает свой первый ужин в Петропавловской крепости. Михайлов много читает, у него начинаются сношения с волей. Сидя в крепости, он видит «молодое поколение» — студентов, заключенных за политическую демонстрацию. Значит, «молодое поколение» перешло от слов к делу, как приглашалось в прокламации. До слез растрогало Михайлова стихотворное приветствие, овации в воротах и на лестнице Сената, интерес незнакомых ему лиц. Значит, о нем помнят, его судьба привлекает внимание. Его жертва — не напрасна. Михайлов, чувствует себя центром внимания, он как бы вырос. Новое настроение сказывается на более ровном и спокойном с проблесками юмора рассказе. Конечно настроение Михайлова не могло быть особенно радужным, особенно когда он оставался один: «грусть часто — таки нападала на меня все это время» пишет он. Но он борется с нею, и рассказ его о заключении в крепости куда более спокоен, чем страницы, посвященные III Отделению. Сыграла известную роль и некоторая привычка к новой обстановке, и большая определенность положения. А впереди — надежда на полное освобождение. Приедут в Сибирь за ним Шелгуновы, устроят ему побег, и все вместе они уедут за границу...

Вслед за осуждением, за гражданской казнью — длительный переезд по всей России. Правда, Михайлов еще под надзором, с ним два жандарма, но скоро они перестают быть для него жандармами, а становятся просто людьми. Езда на почтовых, смена дорожных впечатлений, новые города, новые люди, известность, которой он пользуется — все это, отвлекая от печальных мыслей, выбивает Михайлова из той замкнутости, к которой он уже привык, сидя в заключении. Конечно, поездка утомляет его: «в голове чувствовалось какое то оцепенение, и руки дрожали, как у горького пьяницы», замечает Михайлов о своем состоянии, приехавши в Пермь. Но физическая усталость развеяла тот неприятный осадок, который остался у него после допросов, сиденья под арестом, гражданской казни, прощания с друзьями. Путешествие, как всегда, положило грань между двумя периодами: допросами и ссылкой. И вот, чуткая, здоровая натура Михайлова берет свое.

Дорога и Тобольский острог дали ему массу бытовых впечатлений. Тут и турецкий капитан, семь лет неизвестно за что скитающийся по острогам, и «старая грешница» — кухарка, и Василий Непомнящий с его живыми образными и сочными рассказами, и солдат с трубой, «с великим усердием» трубящий перед дверью, в виде поздравления с новым годом, и надзиратель с мистическим уклоном и повествованиями о встающих из могил мертвецах, оборотнях, о мертвеце, «обглодавшем ноги у часового в Омске», и т. п. бытовые сцены. В Михайлове просыпается беллетрист, жадно хватающийся за новые впечатления. Он много читает и пишет, и в его манере писания чувствуется манера Диккенса с его любовью к маленьким людям, к детальному описанию окружающей обстановки, с умением проникать в психологию изображаемых лиц. Временами Михайлов подымается в своих «Записках» до большого художника, необычайно умело передающего настроение Такого, напр., описание встречи им нового 1862 года.

Мир острожников привлекает к себе Михайлова, как и Диккенса. У него пробуждается настоящий этнографический интерес к острогу и к его обитателям. Все интересует его: и самый острог, и начальствующие лица, и его невольные обитатели. Резкими, короткими мазками набрасывает он картину за картиной.

Роднит Михайлова с Диккенсом и его глубокая гуманность, умение пожалеть человека, как бы низко ни пал он. «Как бы ни были преступны и черны душой все эти несчастные, — пишет он по поводу посещения Тобольского острога, — набитые тут, как звери в клетку, в душе не возбуждается ничего, кроме жалости к ним». По мнению Михайлова, большинство преступлений совершаются в минуты страсти, в минуты увлечения, при чем в большинстве случаев оно не кладет резкой печати на нравственную сторону человека. Что же касается до немногих преступников, ожесточенных убийц, находящихся наслаждение в проливании крови, то не являются ли они вырожденками; и не выходит ли их ожесточение из условий самой жизни, обреченной на невежество, нужду и невыносимые ни для какого животного лишения. «Смешивая всех в одном понятии «преступник», правительство только развращает лучших из них».

Но что особенно привлекает в «Записках» и роднит их с лучшими произведениями Диккенса — это тихий тонкий юмор, так часто пробивающийся в сибирских главах. Так и чувствуются маленькие живые глаза Михайлова, остро смотрящие из под опухших век и загарающиеся тем теплым огоньком, которым притягивал к себе Михайлов всех, кто ближе сталкивался с ним, и особенно женщин. То спокойное настроение, которое пробивалось у Михайлова уже в крепости, теперь овладело им. Он добрался до конца своей дороги, и место ссылки оказалось не таким страшным, каким оно казалось раньше в Петербурге. Судьба точно хотела вознаградить его и за те испытания, которые он уже перенес, и за те, которые ему еще предстояло перенести.

Письма друзей из Петербурга, письмо к генерал-губернатору Вост. Сибири Кюрасову от А. А. Суворова тоже сделали свое дело. В продолжение своего пребывания в Тобольске Михайлов был положительно героем дня. «Во все время моего пребывания в Тобольске, я пользовался самым дружеским, почти родственным вниманием многих. Я был буквально засыпан журналами, книгами; мне присылали со всех сторон газеты в самый день получения почты, справлялись о моем деле, предлагали отправлять письма». Оливки, печенье, всякие сласти и даже цветы доставлялись Михайлову в тюрьму. «Цветы нашли меня в тюрьме, неужели любовь и дружба не найдут меня в ссылке?»

«Любовь и дружба» — вот чего не доставало Михайлову. Не доставало ему любимой женщины, ради которой он принес в жертву все самое дорогое в жизни. Мысль о ней не покидает Михайлова. Он пользуется каждым удобным случаем, чтобы послать Людм. Петр. Шелгуновой письмо, расчитывает дни для отправки письма так, чтобы она получила его в день своего рождения, записывает случайную встречу, поразившую его, чтобы не забыть рассказать ей потом при встрече. И все-таки тоска по ней не оставляет его. Грустным художественным аккордом заканчивает свои «Записки» Михайлов. «Легко сказать — ведь уже пол-

года, как я простился с тобой, и три с небольшим месяца, как я на месте ссылки. С томительным нетерпением ждал я весны, следил каждый день за этими горами, за этим лугом, которые начинали зеленеть так туго, напрасно поджидая дождя. Наконец то тучи над ними сжалились и стали поливать их. Теперь так хорошо все кругом моего жилища: зеленая падь полна цветов, горы тоже позеленели и стоят уже несплошной темной грудой... Хорошо кругом, а грустно... Дни мои скучны и однообразны, от пера к книге, от книги к перу. Но вместо книг хочется живого слова, вместо пера хочется живого дела, живых забот... С грустным чувством дописываю я свой рассказ. Я как—будто прерываю беседу с тобой. Когда же она сменится живою беседой?»

Счастливые дни наступили скоро. В августе приехали Шелгуновы, и Михайлов был счастлив снова, увидав и Людмилу Петровну, и своего Мишу, и Николая Васильевича, с которым он так интимно был связан.

Шелгунова умудрилась пересоздать пустую скучную квартиру в изящное гнездышко — вспоминает Дубровина, жившая в то время на той же квартире («Беседа» 1905 № 12). Появился рояль—Людм. Петр. была хорошая музыкантша. Шелгуновы привезли из Петербурга книги Михайлова. Горячие споры, беседы, тянувшиеся далеко за полночь, оживили ссылную жизнь Михайлова и напомнили ему петербургскую жизнь. А впереди—надежда на освобождение, побег за границу....

Но, к сожалению, это были последние лучи счастья. Слухи о послаблениях, оказанных «государственному преступнику», о побеге, подготовляемом Шелгуновыми, дошли до Петербурга; в сентябре на Казаковский промысел приехал жандармский офицер, чтобы арестовать Шелгуновых. До конца 1862 г. Шелгуновым удалось остаться вблизи Михайлова, в соседней деревне, а потом пришлось проститься с ним навсегда.

Печальна и одинока была жизнь Михайлова в последующие годы. Надежды на близкое освобождение, на свободную жизнь за-границей—рухнули. Скучные и однообразные дни, о которых писал Михайлов, после короткого оживления потянулись еще скучнее и однообразнее. Н. В. Шелгунов был арестован и сослан; Л. П. Шелгунова уехала за-границу; брат Михайлова—Петр Иларионович,—Дейхман, тобольские знакомые поплатились за «послабления, оказанные государственному преступнику». ореол политического мученичества, окружавший Михайлова, потускнел, и он чувствовал себя совершенно забытым и одиноким. Одиночество его было настолько полно, что брату, который узнал о его тяжелой болезни, не дозволили немедленно приехать в Кадаинский рудник, где проживал Михайлов. Хрупкое от природы здоровье окончательно изменило, и воспаление почек быстро свело Михайлова в могилу. А жить ему так хотелось. «О чем ты плачешь?—спрашивал он брата.—Вель я не умираю еще, правда, ведь я не умру?». А через несколько минут, в ночь на 2 августа 1865 г., оборвалась его недолгая жизнь.

Алексей Шилов.

Декабрь 1921 г.

Записки М. Ил. Михайлова.

I.

Д о м а.

I.

В последний день августа 1861 г., поутру, я зашел зачем-то в книжную лавку Кожанчикова, на Невском проспекте. Я стоял у прилавка и перелистывал какую-то книгу. В это время туда явился, гремя саблей, приземистый жандармский офицер в шинели,—судя по апломбу и по немолодой корявой роже, уже в штабских чинах. Он обратился к стоявшему около меня приказчику с вопросом, где тут живет управляющий домом. Приказчик сказал, что в глубине двора, и прибавил, что можно пройти через магазин. Жандарм попросил провести его и пошел вслед за приказчиком.

Другой приказчик, на другой стороне лавки, старый мой приятель, Василий Яковлевич Лаврецов, пришел в неописанное волнение от этого неожиданного визита.

— Да ведь это Ракеев!—кричал он мне.—Ракеев ведь!

— Какой Ракеев?—спросил я.

— Вы Ракеева не знаете? Ракеева?—воскликала Лаврецов.—Ведь это он меня в Третье Отделение брал.

Лаврецов был довольно долго библиотекарем в публичной библиотеке Крашенинникова (бывшей Смирдинской), на Михайловской площади, и я там с ним познакомился. Его знание своего дела, симпатичный характер, страсть к чтению и большая любознательность сблизили его скоро со многими молодыми людьми, посещавшими библиотеку для своих ученых и литературных занятий. Как бедный мещанин, Лаврецов не получил никакого образования и обязан был всем себе. В 1857, кажется, году он был арестован за то, что выдавал для чтения абонентам библиотеки несколько лондонских русских изданий, собрать которые стоило ему большого труда. Его продержали несколько времени в тайной канцелярии ¹⁾ и затем отправили из Петербурга в Вятку, под надзор полиции. Правительство тогда еще либеральничало, вертя перед публикой радужную призму будущих реформ, и во-

¹⁾ Здесь и ниже „тайной канцелярией“ Михайлов называет III Отделение. Все неогороженные примечания принадлежат редактору.

ображая, что может держаться один красноречием, не купая рук в крови. ²⁾ Лаврецова вскоре возвратили, и он поступил приказчиком в книжный магазин Божанчикова.

— Он это! Он! — продолжал Лаврецов волноваться. — Ракеев! Его лицо! Я его хорошо помню, — не ошибусь. — Это ведь Ракеев был? — обратился он к возвратившемуся приказчику. — Зачем он?

Я вскоре ушел и, конечно, забыл бы об этой встрече, если бы о ней не напомнило мне очень ясно следующее утро.

II.

В это утро, то есть 1-го сентября, когда только что начинало светать, меня разбудили торопливые шаги горничной мимо моей спальни к двери прихожей.

— Что такое? — спросил я.

— Б вам кто то; того и гляди, колокольчик оборвут.

Тут и мне послышался звонок, который надо было рвать слишком сильно, чтобы у меня было его слышно.

В отворяемой двери прихожей загремели сабли, и около двери спальни тотчас же показалась высокая фигура полковника, с красным воротником. Слегка притворяя дверь, он произнес:

— Потрудитесь одеться, м-г Михайлов. Мы обождем.

Лицо этого господина мне было несколько знакомо; но я не сразу вспомнил, где я его видал.

Цель, с которой он прибыл, для меня тотчас объяснилась, когда из за него выглянул голубой мундир и искосыренное лицо вчерашнего полковника. С ними был еще квартальный, длинный, испитой и бледный.

Когда я набросил халат и вышел в кабинет, ранние гости отрекомендовались мне:

— Полковник Золотницкий.

— Полковник Ракеев.

Первый, полицеймейстер званием, объявил мне с должными извинениями, что они имеют поручение произвести у меня маленький обыск. ¹⁾

Затем он спросил, где кончается моя квартира, и затворил дверь кабинета в половину Шелгуновых.

²⁾ Около того же времени, помнится, в газетах было напечатано, что кто то (кажется Мухин по фамилии) читал в одном трактире в Петербурге „Колокол“ и был за это только сослан под полицейский надзор в Петрозаводск или куда то в другое место на север. Теперь за это шлют уже в каторгу. — Примечание М. И. Михайлова.

¹⁾ В середине августа 1861 г. в III Отделении собств. его импер. вел. канцелярии было получено из Москвы письмо за подписью Николая Дмитриевича Костомарова, брата Всеволода Костомарова, о котором далее неоднократно говорит в своих „Записках“ М. И. Михайлов. К письму были приложены две прокламации: „К солдатам“ и „К барским крестьянам“, причем автором последней доноситель называл М. И. Михайлова. Для расследования в Москву был экстренно командирован жандармский подполковник Житков, который обнаружил связь между этим делом и кружком московских студентов (Петр Григ. Заичневский, Перплк Эм. Аргиронуло, Ив. Ив. Гольцимиллер, Иос. Каэт. Сороко и др.), печатавших лондонские революционные издания. Тогда же был арестован и Всев. Костомаров, которому М. И. Михайлов передал для печатания указанные прокламации. На основании донесения подп. Житкова и был произведен первый обыск у М. И. М-ва.

— Вы, как имеется сведение, привезли что то недозволенное из-за границы,—объяснил Золотницкий. Позвольте посмотреть ваши бумаги и книги.

Жандармский уселся за мой письменный стол, спросил, нет ли у меня в нем денег и драгоценностей, и стал выдвигать ящики, вынимая бумаги, письма и проч.

— Это что-с?

— Это семейные письма.

— Это мы не станем смотреть.

— А это-с?

— Это корректуры журнальных статей.

— Все больше по литературной части?

— Да.

— Какой у вас порядок во всем! Приятно видеть.

Он, может быть, хотел сказать: «приятно производить обыск».

Иное он клал назад в ящики, другое оставлял на столе. Полицеймейстер тоже брал какую нибудь бумагу или тетрадь и опять опускал на стол, говоря: «Что-же? Тут ничего такого».

— А вот нет ли у вас каких запрещенных книг, обратился он ко мне—или, «Боллокола», например? Я уже давненько его не читал. Вы, верно, привезли последние номерки? Интересно бы прочесть.

Между прочим, им попался мой заграничный паспорт.

— Это мы отложим. Как же вы это его не представили? Ведь следовало по приезде тотчас пред'явить в канцелярию генерал-губернатора.

Этого вовсе не следовало; но следовало, чтобы тотчас по приезде адрес мой был записан в квартале,—а этого дворник не сделал, хотя я воротился уже больше месяца.

По этому поводу Золотницкий сообщил мне, что меня очень долго искали, не зная, где справиться об адресе. Заграничный паспорт и аттестат мой об отставке, служивший мне видом на жительство, он отложил, чтобы взять с собой.

В столе и в бумагах ничего не оказалось. Да при том полковники, кажется, и сами не знали, чего ищут.

— Да нет ли у вас чего?—стали они приставать ко мне.—Вот из книг то, из книг то? Вы уже лучше скажите!

Обилие книг, повидимому, смущало их.

— Да каких же вам запрещенных книг? Вот смотрите! Ну, вот Прудон был прежде запрещен, Луи Блан. А теперь не знаю. Да у кого же нет таких книг?

— На французском языке?

— Да.

— Нет-с, это что. Вот на русском бы чего нибудь.

Мне так надоели эти господа, что я готов был сунуть им что нибудь, чтобы они только уехали поскорее. Им же, кажется, не хотелось уезжать с пустыми руками.

— Ну, вот Пушкина есть берлинское издание,—сказал я,—снимая с полки книгу.

— Что же Пушкин! помилуйте!—воскликнул Ракеев, глядя на меня своими маленькими светло-серыми зрачками, которые почти сливались с раскрасневшимися воспаленными белками.

Я заметил потом, что эти воспаленные белки одно из характеристических отличий жандармских лиц. Не оттого ли, что их часто будят по ночам?

— Пушкин,—продолжал с некоторым пафосом Ракеев.—Это, можно сказать, великий был поэт. Честь России!... Да-с, не скоро, я думаю, дождемся мы второго Пушкина. Как ваше мнение?

Он задвигал как то особенно нелепо своими колючими подстриженными усами и заговорил почти трогательно:

— А знаете-с? Ведь и я попаду в историю! Да-с, попаду! Ведь я-с препровождал... Назначен был шефом нашим препроводить тело Пушкина. Один я, можно сказать, и хоронил его. Человек у него был,—Осипом, кажется, или Семеном звали... Что за преданный был слуга! Смотреть даже было больно, как убивался. Привязан был к покойнику, очень привязан. Не отходил почти от гроба; не ест, не пьет... Да-с, великий был поэт Пушкин, великий!

И Ракеев вздохнул.

Полицеймейстер перелистывал, между тем, взятую книжку и с некоторою любовью остановился на отрывках из «Гаврилады».

— Да ведь тут,—обратился он к жандармскому, называя его по имени и отчеству,—тут все запрещенные стихи Пушкина. Это надо, я думаю, взять.

— А! если так,—воскликнул с явным удовольствием жандармский—отложите! Да нет ли у вас еще чего-нибудь в этомъ роде?—обратился он ко мне.

Золотницкий подошел к одному из шкафов и тупо читал заглавия книг.

— Это вот-с что такое?—спросил он.—О революции, кажется?

— Да, «Французская революция» Карлейля.

— А, ну это ничего.—Да уж, верно, у вас есть что нибудь из русского, заграничного.

И он начал придвигать книги к задней стене, к которой они были поставлены не вплоть, и как раз тот ряд, где было несколько лондонских изданий.

Я начинал уже терять терпение.

— Ну вот вам брошюрка!—сказал я—она, может быть, и запрещенная. В Лондоне напечатана.

Это были речи международного революционного комитета, изданные под заглавием: «Народный Сход» ¹⁾).

— А! вот-с, вот-с!

И полицеймейстер передал ее жандармскому.

— Отложим, отложим,—произнес Ракеев.

Он встал из-за стола и подошел к одному шкафу, поглядел на книги, подвигал их, к другому, к третьему. Наконец, и он, и Золотницкий подошли к столу между окнами и стали раскрывать и закрывать коробки с бумагами.

¹⁾ „27 февраля 1855 г. Народный сход в память переворота 1848 г. в St. Martin Hall“ Лондон, 1855. Речь А. И. Герцена, произнесенная на этом митинге, напечатана в XIII томе „Полного собрания сочинений и писем А. И. Герцена“, под ред. М. К. Лемке, с. 141—152. О самом митинге см. там же, с. 152-154.

Золотницкий взял лежавший на столе альбом и готов был раскрыть его, но в то же время рассматривал портрет Герцена в простенке, разбирая под ним факсимиле.

Я очень опасался, чтобы он не стал рассматривать альбом и не наткнулся в нем на подписи Огарева и Герцена: тогда, альбом прощай! Я решился пожертвовать портретом, чтобы не лишиться альбома ¹⁾).

— Это ведь Герцена портрет, объяснил я.

Ни полицеймейстер, ни жандармский, должно быть, никогда не видали его портрета и, снявши, принялись рассматривать с великим вниманием. Маневр мой был удачен относительно альбома, его отложили в сторону и совсем забыли.

— Это надо взять, непременно надо взять,—сказали оба почти в один голос.

— Как же вы это так на виду его держали?—с укоризной заметил Золотницкий.—А это кто?

Он указал на другой портрет.

— Это Гейне.

— Ну, это другое дело. Это ведь, кажется, немецкий сочинитель?

— Да.

Квартальный все это время стоял, держась за спинку кресел около дивана, и молчал. Только на предложение мое выкурить папироску, отвечал, что не может, потому что болен, вчера был с вечера в бане, думал все пройдет, да только хуже разломило всего; а тут еще и соснуть не удалось.

— Ну-с, я думаю, и акт можно составить?—заметил жандармский, овладев портретом.—Нет ли у вас чемоданов, сундуков?

— Нет.

Полицеймейстер пошел в спальню, отворил столик около постели, заглянул туда, взглянул на стены и воротился в кабинет.

— Я думаю, можно уж и акт составить?—повторил жандармский.

Но полицеймейстер снова, чуть не десятый раз, обратился ко мне с вопросом—нет ли у меня еще чего.

Вообще, этот идиот с оловянными глазами, каким то нелепым завитком на лбу и конусообразной головой, при том с развязными гвардейскими манерами, казался мне вдесятеро гаже жандармского.

— Садитесь,—обратился Ракеев к квартальному.—Вы знаете, как пишутся акты?

— Знаю-с.

Квартальный сел и принялся выводить писарским почерком:

«Сентября 1-го дня сего 1861 года, прибыв по приказанию высшего начальства», и так далее.

Ракеев диктовал, повторяя фразы раза по два, чтобы слог вышел лучше.

— Как-с вы эти французские то книги называли?—спросил он меня.—Это, я думаю, тоже записать не лишнее? обрати-ся он к Золотницкому.—Имеют ли они право их держать?

¹⁾ Этот альбом был отобран у М. И. М.—ва при вторичном обыске.

— Да, записать! записать! подтвердил Золотницкий, грациозно раскачиваясь на ногах.

— Так как-с же вы их называли?— спросил меня Ракеев.

— Луи-Блан, Прудон.

— «При обыске найдены сочинения Луи-Блана и Прудона на французском языке»,— диктовал он.

С заботами о слоге диктовка длилась не меньше получаса. Весь же обыск продолжался, наверное, часа два слишком.

Наконец, полковники подписали акт и попросили расписаться меня, потом завернули две книжки и портрет, запечатали моей и своими печатями и, к великому удовольствию моему, удалились с прежним грохотом сабель. При прощании были, разумеется, разные извинения, что обеспокоили.

Эта деликатность была особенно некстати после того, как эти незваные гости, заслышав в другой комнате стук чашек и ложек, напрашивались тонким образом на чай,—именно замечали, что на дворе холодно, и что они не успели еще в это утро выпить чаю. Они, видно, вовсе не считали своего посещения неприятным для меня. Я, однако ж, остался глух к их намекам.

На свертке с портретом и книгами они попросили меня написать, что эти вещи действительно взяты у меня. Я написал. Им, конечно, нужен был мой автограф ¹⁾.

III.

Почти вслед за отъездом полковников я отправился к Цепному мосту, в III Отделение, чтобы узнать от Шувалова ²⁾, о причине обыска.

В приемной меня встретил Золотницкий, только что вышедший из кабинета, и очень удивился моему приезду.

— Зачем вы? Ведь ничего у вас не нашли,—говорил он мне.—Разве вас призвали сюда?

— Нет.

— Так уезжайте лучше. Что вам тут с ним разговаривать?

Я, однако-ж, остался.

Шувалов, выйдя, пригласил меня в кабинет,—тот самый кабинет, где мне после того случалось быть еще не один раз,—и спросил о причине моего приезда к нему. Я, в свою очередь, спросил о причине бывшего у меня неприятного посе-

¹⁾ Прокламация „К молодому поколению“, которую искали при обыске, находилась в комнате М. И. М.—ва и лишь случайно не была найдена.

²⁾ Шувалов, граф Петр Андреевич (1827—1889) в то время начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III Отделением. Резкую характеристику его и других современных ему государственных деятелей, имевших отношение к III Отделению, (кн. В. А. Долгорукова, А. Б. Тимашева, А. Л. Потанова и др.) см. в №№ 5, 7—11 заграничного „Листка“ издаваемого кн. П. Долгоруковым.

шения. Он немного замаялся. Я сказал, что, кажется, к этому не было с моей стороны никакого повода.

— Разве только мой образ мыслей комунибудь не понравился? прибавил я.

— Помилуйте — возразил на это Шувалов. — Дело не в образе мыслей. Я сам человек либеральный.

Слышать такое золотое изречение от шпиона en chef и не засмеяться — тоило мне некоторого усилия.

Видя, однако-ж, что я не уйду без объяснения, Шувалов сказал мне, что на меня есть подозрение по делу московских студентов, у которых открыта тайная типография и литография¹⁾; но что так как дело это передано из III-го Отделения в министерство внутренних дел, то я оттуда получу на днях вопросные пункты.

— Вы ведь никуда не собираетесь ехать из Петербурга?

— Никуда.

IV.

Весть о московских студентах немного удивила меня. Я знал, что с их стороны не может быть на меня ничего, кроме голословных показаний. Только на другой день, на сходке у Николая Курочкина²⁾ по поводу Шахматного клуба³⁾ — узнал я об аресте Всеволода Костомарова⁴⁾. Но и тут мне в голову не приходило, чтобы Третье Отделение могло чтонибудь знать о воззвании «К молодому поколению». В этот именно вечер оно было распространено по

¹⁾ Кружок П. Гр. Заичневского, П. Эм. Аргиропуло и др. отлитографировал [книгу Огарева „14 декабря 1825 г. и император Николай“; об этом кружке см. „Полн. собр. сочин. А. И. Герцена“, т. XI, с. 172—192 и сборник „О минувшем“, СПб., 1909 г., с. 122—178.

²⁾ Курочкин, Николай Степанович (1830—1884), известный поэт-переводчик, вместе с братом Васил. Степ. редактировавший „Искру“ — сатирический журнал 1860-х гг.

³⁾ Шахматный клуб или как его называли „Шах-клуб“, открытый позже — в январе 1862 г. и закрытый в июне того же года в связи с петербургскими пожарами, был своеобразным литературно-политическим клубом, в котором встречались и обменивались мнениями писатели, имевшие отношение к общественной жизни. Близкое участие в нем принимал Н. Г. Чернышевский и П. Л. Лавров; последний, вместе с Гр. З. Елисеевым, был старшиною этого клуба. Более подробные сведения и библиографию см. в первой книге „Материалов для биографии П. Л. Лаврова“. Изд. „Колос“. Петр., 1921, отд. III, с. 11—12.

⁴⁾ Отставной корнет уланского полка, из дворян Ярославской губ., Всеволод. Дмитр. Костомаров, поэт-переводчик, сотрудник „Современника“, был арестован в Москве во втор. пол. августа 1861 г., якобы по доносу-письму своего брата; на самом же деле, письмом этим дебютировал в качестве доносчика и агента III Отделения сам Всев. Костомаров. С этого времени и начинается его предательская деятельность в двух самых громких политических делах нач. 1860-х гг.: М. И. Михайлова и Н. Г. Чернышевского. О Костомарове см. книгу М. К. Лемке „Политические процессы М. И. Михайлова, Н. Г. Чернышевского и Д. И. Писарева“. СПб. 1907 и его же статью „Как создали процесс Чернышевского?“ — „Былое“ № 14 (1919) с. 112—151. О сношениях Костомарова с Чернышевским и о его отношениях к М. И. М-ву и Н. В. Шелгунову см. „Гол. Минувш.“ 1918, № 4—6, с. 65—68. (Из воспоминаний Н. В. Шелгунова).

Петербургу ¹⁾. Между тем, как потом оказалось, Костомаров успел уже объяснить Шувалову все, что знал о прокламации и что даже только подозревал. Собственно, знал-то он немного. У меня искали именно ее.

После того, как прокламация распространилась, старания найти ее источник были, разумеется, удвоены. За мной, вероятно, следили, и особенно старался в Петербурге и в Москве частный пристав Путилин ²⁾. Этот усердный молодой человек, как я узнал потом в тайной канцелярии, был там правой рукой.

Как же было и не поусердствовать какомунибудь частному, когда агентами шпионского отделения с величайшей готовностью соглашались быть и особы в генеральских чинах, не имеющие надобности хлопотать о Владимире в петлицу, и при том совсем постороннего ведомства. Ты, конечно, помнишь ³⁾, как удивила меня записка от цензурного глухаря, барона Медема ⁴⁾ о том, что, не я ли доставил к нему какую-то небывалую статью о бельгийской конституции. Курьер ждал от меня тотчас же ответа, точно дело шло о пожаре или наводнении. Мою записку я видел потом в III Отделении. Ее сличали с двумя рукописями ⁵⁾, взятыми у Костомарова (вернее представленными им), и нашли, что я писал то, чего никогда не писал.

¹⁾ Воззвание „К молодому поколению“ было написано Шелгуновым, отпечатано в Лондоне и привезено в Петербург М. И. М—вым, который и предложил Вс. Костомарову некоторое количество экземпляров для распространения, не называя, конечно, автора. Вследствие этого III Отделение полагало, что автор прокламации—М. И. Михайлов. Воззвание было распространено в Петербурге 3—4 сентября; в этом деле, кроме Шелгунова и Михайлова, приняли участие Евг. П. Михаэлис, брат Шелгуновой, и А. А. Серно-Соловьевич—о чем см. „Голос Мин.“ 1918, № 4—6, с. 68; „Юбилейный Сборник Литерат. Фонда“. СПб. 1909, с. 413 (Из воспоминаний Н. В. Шелгунова) и „Гол. Мин.“ 1916, № 4, с. 45 (Из дневников Е. А. Штакеншнейдер).—Воззвание „К молодому поколению“ было напечатано: в отрывках В. Л. Бурцевым „За сто лет“. Лонд., 1897, с. 25—33 и Кувлиным „Итоги революц. движения в России“. Жен., 1903, добавл. с. 1—8;—полностью очень неисправно: В. Я. Богучарским в „Материалах для истории революц. движения 60-х гг. Париж. 1905, с. 2—15 русск. издание, с. 2—11) и М. К. Лемке в „Политич. процессах“. СПб., 1907, с. 36—54 (с цензурными сокращениями и тоже неисправно).

²⁾ Путилин Иван Дмитриевич, известный сыщик; своими удачными розысками по уголовным делам заслужил прозвище „русского Лекака“. В 1861 г. принимал участие, в качестве прикомандированного в III Отделение, в деле В. А. Обручева и М. И. Михайлова. О его близких отношениях с Вс. Костомаровым—см. М. К. Лемке „Как создали „процесс“ Чернышевского?“—„Былое“ кн. 14 (1919), с. 113 сл.

³⁾ Как указано во вступительной статье—свои записки М. И. Михайлов писал для Людм. Петр. Шелгуновой; поэтому все личные обращения в „Записках“ относятся к ней.

⁴⁾ Барон Медем, член Главн. Управления Цензурой—о нем см. А. В. Никитенко, Дневник. СПб., 1905 (Ук.) и М. К. Лемке, Эпоха цензурных реформ. СПб., 1904 (Ук.).

⁵⁾ Две рукописи, о которых говорит Михайлов—прокламации: „К солдатам“—Н. В. Шелгунова и „К барским крестьянам“—Н. Г. Чернышевского. Обе они были переданы Костомарову для печатания М. И. Михайловым, причем первая была переписана измененным почерком Шелгуновым („Гол. Мин.“ 1918, № 4—6, с. 66). Переработанный текст прокламации „К солдатам“ перепечатан в XI томе „Полн. собр. соч. А. И. Герцена“, с. 321—323; о ней см. там же т. XV, с. 124. Прокламация Чернышевского перепечатана М. К. Лемке „Политич. процессы“, с. 336—346.

V.

Я делал разные предположения, прежде чем меня арестовали; но мне ни разу не пришло в голову, что Костомаров — подлец ¹⁾. Уже потом я слышал, что один близкий к III-му Отделению человек говорил одному литератору: «хороши ваши литераторы! Сваливают друг на друга». Это относилось именно к Костомарову.

Кажется, дня через четыре после бывшего у меня обыска, заехал ко мне Г., никогда прежде у меня не бывавший, чтобы сказать, что хотят сделать обыск в какой то деревне, тогда как у меня никакой деревни нет и я никуда не ездил из Петербурга. Откуда могли идти такие вести? Тот же Г. говорил, что в III-м Отделении убеждены, что подозрения на меня вполне основательны, и что у них есть мои рукописи, компрометирующие меня.

Все эти глухие слухи не просветили меня, к несчастью, относительно Костомарова и я продолжал относить всю вину на человека, который несколько был в этом не виноват, да и быть-то виноватым не мог. Мне совестно думать теперь об этом подозрении.

А между тем, Костомаров, в последний приезд свой из Москвы, произвел на меня далеко не такое приятное впечатление, как прежде. Я в этот раз убедился, что он любит лгать, и, когда он мне рассказывал, что брат грозит ему доносом ²⁾, не верил ему и потому слушал его довольно хладнокровно. Я думаю что все это вздор, и никакой брат не думал на него доносить; но если это была даже правда, отчего он не постарался уничтожить улики?

Я припоминаю теперь еще одно обстоятельство, которому, впрочем, не хочу придавать важности. Упомяну о нем только потому, что оно не раз приходило мне на ум в продолжение следствия надо мной. Ты знаешь, как часто жаловался Костомаров на свою бедность, на то, что литература не дает денег, что журналисты не платят, и пр. Именно, в последнее свое свидание со мною, он говорил, что если так будет продолжаться, он поступит в жандармы. Он прибавил, что сделал бы это во вкусе Конрада Валленрода ³⁾ и говорил шутя; но слова его чрезвычайно неприятно подействовали на меня.

¹⁾ Второй обыск 14 сент. и арест М. И. Михайлова был вызван яко бы перлюстрированным письмом, посланным Вс. Костомаровым Як. Ал. Ростовцеву. В этом письме, написанном специально для того, чтобы его перехватили, и явившемся, таким образом, замаскированным доносом, Костомаров извещает, что на него донес его брат, и поручает Ростовцеву узнать адрес М. Мих[айлова], и предупредить его, чтобы он уничтожил все до единого экземпляры М[олодого] п[о]кло[ня]я. О письме этом ниже говорит М. И. М-в; полностью оно напечатано в ХУ т. „Полн. собр. сочин. А. И. Герцена“, с. 27—28.

²⁾ О таких же угрозах Костомарова говорит в своих воспоминаниях и Н. В. Шелгунов в „Гол. Мин.“ 1918, № 4—6, с. 65.

³⁾ Герой поэмы Мицкевича, изображенный в ней, согласно преданию, литовцем, вступившем в орден меченосцев с целью отомстить им за разорение своей родины.

О Костомарове, впрочем, речь впереди.

Как бы то ни было, я вовсе ни подозревал, что дело идет именно о прокламации «К молодому поколению». Если я принял кой-какие предосторожности, уничтожил разные письма и бумаги и пр., то лишь потому, что думал, подозрение может пасть на меня по какомунибудь новому поводу.

Меня мало тревожили и слухи о том, что меня арестуют, распространявшиеся не раз по городу. Помнишь, приезд Блюммер и ее предложение спрятать меня в своей квартире и потом выпроводить за границу?

Второй обыск нагрянул совсем неожиданно. Сведения были собраны уже довольно обстоятельные, и можно было явиться ко мне с двойным трезвоном и с большою наглостью.

VI.

Утро 14-го сентября было так богато разными наглыми и возмутительными подробностями, что его нельзя забыть. И при всем этом известная деликатность обращения! Неделикатен разве был только звонок, которым можно бы на смерть испугать больного.

А все остальное (даже призыв в твою спальню, для присутствия при твоём одевании, бабы Аграфены) было так все светски и гвардейски вежливо. Черту неделикатности выказал, правда, также один из свидетелей или понятых, — помнишь, — тот, что был одержим глухотой и облечен в зеленый сюртук с гербовыми пуговицами. Он садился все в разных местах, и, где ни сядет, непременно возьмет со стола бумагу какуюнибудь или письмо и примется читать. Но ведь это даже нельзя и неделикатностью назвать — просто глупость. При том же, как только я сказал, что это мне не нравится, гвардейские любезники его тотчас остановили. Благодушный полковник Шербацкий наклонил также свою мягкую физиономию к моим письмам и также не без любопытства почитывал их. Но ведь это было полным его правом. А какая тонкость в обращении жандармского полковника Житкова¹⁾. («Вы твердо изволите писать, или добро в вашей фамилии?» спрашивал его тот же квартальный, на этот раз уже здоровый, выписывая начало акта. — «Те... Ж и т..., а не Ж и д...» отвечал полковник). У него белки были тоже красные, все в напряженных жилах. Но как ласково он смотрел! Как мило улыбался! Наибольшую серьезность хранил черный сыщик Путилин, показавшийся всем нам особенно загадочным лицом. Но и он раза два улыбнулся, и голос у него был такой мягкий. Его глаза с черными масляными зрачками и какою-то синеватою тенью под веками и на белках я готов бы признать такими-же характеристическими для шпиона, как красные для жандарма; но не слишком ли уж это будет? А именно, точь в точь такие глаза и такой же вид, почему то напоминающий ворон, был и у следователя, который трудился выклеивать у меня признание в тайной канцелярии.

¹⁾ Подполковник Житков, командированный в Москву для расследования дела о московских студентах и костомаровского доноса на М. И. Михайлова.

Воспоминание об этом гнусном утре до сих пор возбуждает во мне желчь. Эта кучка народу (ведь одних солдат жандармских и полицейских было человек 10, не считая бабы и четырех высших шпионов, расхаживавших с двумя понятиями по всем комнатам), эти поганые глаза, осквернившие своим взглядом столько чистых страниц, эти дрянные воровские руки, готовые пачкать все своим прикосновением, это расхаживание из комнаты в комнату и собачье обнюхиванье всего, эта наглость, сопровождаемая или предшествуемая извинениями, наконец, самая продолжительность этой пытки, тянувшейся с пяти часов утра чуть не до часу пополудни, — у меня теперь от одного того, что я припомнил их, сохнет во рту, как сохло в то утро ¹⁾.

До сих пор не могу я объяснить себе одного факта. Когда жандармский сидел в гостиной, пересматривая твои письма, а Щербачкий занимался сниманием с полок и перелистыванием книг у меня в кабинете, Путилин, притворив дверь в прихожей, шептался с высокой, красивой и молодой дамой, к которой его вызвали. Этой даме он, кажется, что то передавал и чуть ли она не два раза тут была. Я притворил дверь и смотрел на них; но ничего не слышал. Я тут же спросил Путилина, что это значит. Он глухо отвечал, что это к нему, по постороннему делу. Я потом очень хорошо узнал эту даму во дворе III-го Отделения. Она не раз проходила там.

VI.

Уже судя по продолжительности и тщательности обыска (при котором все-таки ничего особенного не найдено) можно было догадаться, что меня не оставят дома. Если бы им вздумалось тут же читать грудку бумаг и писем, без толку набранных у меня и у Шелгунова, им пришлось бы тут гостить дня два. Когда коробки с бумагами были запечатаны и в доме ничего не осталось не обшаренного, даже до чердака, полковник Житков, предпослав приличное извинение, объявил мне, что «принужден пригласить меня с собой».

Я только что умылся и принялся одеваться в спальне, как ко мне вошел жандармский и конфиденциально спросил, как же я оставлю свои вещи, и нужно ли их опечатать и передать кому либо.

Я сказал, что пусть они остаются как есть, у вас на руках, без всякого опечатания.

— Я должен, однако же вас предупредить,—сказал он еще конфиденциальнее: — что и они (он кивнул на кабинет), может быть, должны будут быть удалены из квартиры. Впрочем,—продолжал он, как бы соображая—покамест, можно будет оставить. Теперь вы поедете только одни.

Ты, разумеется, помнишь, что он говорил вроде утешенья:

¹⁾ Описание обыска и ареста М. И. Михайлова см. также в воспоминаниях Шелгунова („Юбил. сборник Литерат. Фонда“, СПб., 1909, с. 413—414) и в „Полн. собр. сочинений А. И. Герцена“, т. XV, с. 27.

— Вы, вероятно, часа через полтора узнаете о них (т. е. обо мне).

Это было сказано с целью, именно для меня, и я слишком поздно догадался, с какою.

Я был сильно встревожен, когда мне пришлось прощаться со всеми. У меня точно было уже предчувствие, что дело разыграется именно так глупо, как оно разыгралось. Преследование было слишком нагло, и мне поневоле думалось, что оно не может же основываться на какихнибудь пустяках.

Уже сходя с лестницы, я был как будто охвачен всеми теми мыслями, которые потом все росли и давили меня в тайной канцелярии. Я простился внизу с Николаем Васильевичем ¹⁾ и Веней ²⁾, но подумал взглянуть на верх, на окна нашей квартиры, только уж тогда, когда карета отъехала от ворот.

VIII.

На передней лавке кареты поместили коробки с бумагами и чемодан мой с бельем и с кой-какими книгами, взятыми мною на время ареста. Рядом со мною сидел жандармский в шинели.

Мне смутно помнится, что утро было яркое и не холодное, и слышался церковный звон (был праздник Воздвиженья). Близь наших ворот, у соседнего дома, на углу, у гимназии, стояло немало народа, явно привлеченного жандармами, в воротах и у ворот.

Это любопытство не понравилось моему полковнику.

— Я всегда говорю,—заметил он,—что обыски гораздо лучше делать по ночам, как прежде делали. А этак по утру—неприменно наберутся любопытные.

Мы, сколько помнится, ехали по Большой Морской, потом, кажется, по Миллионной, к Летнему саду.

Житков предложил мне несколько вопросов, может быть, с целью, а, может быть, и так, именно: давно ли я вернулся из-за границы, долго ли там проездил и где жил.

Я чувствовал такую сухость и горечь во рту, что мне не хотелось и слова сказать. Было как раз время завтрака, а я утром выпил только стакан чаю без хлеба. Я сказал, что поездка в III Отделение не дала мне и позавтракать.

— Как жаль, что теперь не вечер,—заметил на это Житков.—А то мы могли бы заехать с вами в какойнибудь ресторан и закусить.

Действительно жаль. Какое было бы прекрасное препровождение времени!

— Впрочем, вы можете спросить, чего вам угодно и там.

Это там было почти уже здесь.

Мы переехали Цепной мост, но опытный извозчик не повернул по набережной, где мне было известно крыльцо тайной канцелярии, а поехал в Пантелей-

¹⁾ Шелгуновым.

²⁾ Евген. Петр. Михайлис — брат Шелгуновой. Восторженную характеристику его дает в своих воспоминаниях Н. В. Шелгунов („Гол. Минувш.“ 1918, № 4—6, с. 68—69).

моновскую (кажется, так) улицу и в конце ее повернул направо в ворота, в которых стояли жандармы.

— Вы посидите покамест в карете,—проговорил Житков, выскакивая. Я сейчас.

И точно, минуты через две, он явился к дверцам и попросил меня следовать за собой. Тут же под воротами в под'езд стали мы подыматься по довольно опрятной лестнице. Здесь вышел к нам на встречу во втором этаже (из двери, на которой я прочел «Зарубин») офицер с красным воротником и общеармейским лицом. Это был еще человек молодой, белокурый и самого беззаботного вида.

— Вот-с г. Михайлов,—об'яснил ему Житков. — Поместите их. А мне надо спешить. Мое почтение, м-р Михайлов.

И мой провожатый с архангельскою легкостью запорхал вниз по лестнице, по архангельски гремя о ступени своим длинным мечом.

— Пожалуйте за мной,—обратился ко мне Зарубин, как оказалось, смотритель дома, смотритель каземата при тайной канцелярии, эконо́м—одним словом, нечто в роде домашнего гения этих милых мест.

Мы и без того были уже высоко, но пришлось подыматься еще выше,—и, наконец то, пройдя еще десятка три ступеней, я вступил в дверь, где капитану брякнул на караул ружьем солдат.

— Ох, высоко! —проговорил и смотритель, отдуваясь, хотя бегать взад и вперед по этой лестнице ему было, вероятно, в привычку.

Тут я очутился в какой то горнице, похожей и на грязную лакейскую в беспорядочном помещичьем доме, и отчасти на буфет какой нибудь захолустной харчевни, и, наконец, на сторожку.—Тут пахло сапогами и угаром, и возился около стола с чайными чашками и сапожными щетками высокий и неуклюжий человек, видом и одеждой похожий на дворника.

— Где же вахтер?—крикнул смотритель.—Вахтера послать!

Вахтер, черный, приземистый, в серой шинели, был легок на помине.

В двери, выходявшей в описанную мною комнату, повернулся большой ключ, и передо мною распахнулась моя первая тюрьма.

II.

В тайной канцелярии.

I.

Это была довольно просторная комната, очень обыкновенного вида, оклеенная обоями, с двумя большими окнами. Что это тюрьма, напоминали, однако-ж, очень ясно железные перекладины за этими окнами. Кроме койки, был тут небольшой стол, довольно удобный диван, несколько стульев, и в одном углу снаряд, показывавший, что из этой комнаты нельзя выходить даже по крайней надобности.

Из окон виднелись только крыши да трубы; двор внизу представлялся чем-то в роде колодца: так высоко поднялась эта тюрьма.

Смотритель велел внести мой чемодан и сказал, что сейчас придет дежурный—записать мое имя и осмотреть вещи. Сам он ушел.

Вскоре явился гусарский офицер глупого вида и молодой, с одной особенно одутловатой щекой, которая была будто во флюсе, но этот флюс—потом я увидел—был постоянный. Гусар принес шнуровую книгу. За ним вошел вахтер с кучкой белья. Чемодан мой поставили на пол.

Гусар спросил мое имя, звание и проч. и записал в своей книге. Потом он объявил мне, что я должен раздеться и надеть все казенное. Мне пришлось снять с себя все до чиста—даже чулки. Взамен мне дали казенные чулки, белые штаны с костяными пуговицами, спитые на человека вдвое выше и толще меня, рубашку и поверх всего белый больничный халат, а на ноги старые стоптанные башмаки.

Пока я переодевался, черномазый противный вахтер производил обыск по всем карманам моего платья, которые выворачивал и опять вправлял. Все, что было в них, я заранее выложил на стол. Белье из чемодана тоже было выложено, переписано в книгу; все, что было на мне, тоже: часы, кошелек с деньгами, шапка... Ничего из всего этого, объявил мне гусар с флюсом, не может быть оставлено при мне.

— А книги?

— Книги тоже надо передать в экспедицию. Там просмотрят. Только сегодня уж никому: праздник.

Гусар обещал со временем хорошего шпиона. Мало того, что при нем были обшарены мои карманы. Он велел вахтеру вскрыть запечатанный ящик с папиросами, взятый мною из дому, и когда вахтер раскрыл его, он начал перерывать папиросы своею пястью с самым серьезным видом и даже чуть ли не с сознанием собственного достоинства.

Ему было на вид лет 20; усы маленькие; бороду он едва ли еще брил. Надежды подает приятные. Впрочем, таких милых юношей в мундирах разных полков я видел больше десятка во время пребывания моего у Цепного моста. Все они прикомандированы к начальнику III Отделения в чянии мест адъютантов и чиновников особых поручений по жандармерии; состоят тут как бы на испытании и должны зарекомендовать свою скромность и показать отчасти свою деятельность. Шляясь по трактирам и по гостям в свободные от дежурства дни, они обязаны от времени до времени поддерживать хорошее мнение о себе в глазах начальства легкими доносяками. Должно быть, они очень дорожат своим положением, потому что отвечают самым уклончивым образом даже на самые обыкновенные вопросы, в роде справок о погоде.

Обобрав меня до чиста, офицер с вахтером ушли, и дверь за ними была заперта. Я уж не помню теперь, была ли она стеклянная, как в другом помещении, или с квадратным оконцем, прикрытым снаружи желтым клапаном, как в тюрьме. В этой комнате я пробыл слишком недолго.

Смотритель, уходя, спросил меня, не хочу ли я обедать или чаю. Я спросил чаю, и мне принес его тот косолапый, похожий на дворника, человек, о котором я упоминал. Чай, конечно, не успокоил моего нервного раздражения после этого отвратительного утра. У меня разбалчивалась голова. Я попробовал лечь на койку и задремать; но сон не шел, хоть я и не выпался в эту ночь, как следует. При том я не мог отделаться от разных предположений относительно своего ареста: но в них все-таки не подходил даже и близко к настоящему их поводу—доносу Костомарова. Мне хотелось, чтобы хоть эта нерешительность скорее миновала, чтобы меня позвали на допрос.

II.

Вскоре опять явился смотритель и за ним вахтер с моими сапогами и платьем.

— Потрудитесь одеться,—сказал смотритель.—Мы вас переведем в другой номер.

Я стал одеваться и спросил—зачем?

— Здесь высоко, неудобно и далеко от экспедиции, —сказал смотритель, а вас часто будут спрашивать. Велели поближе перевести.

Мы спустились с лестницы в сопровождении вахтера, несшего за нами больничный халат и стоптанные башмаки. Пройдя первый двор, загроможденный страшным количеством дров (смотритель говорил мне потом с гордостью, что у них на шпионскую канцелярию выходит их в год на 8000 р.), мы вступили на второй двор, неправильной формы и поменьше. Дальше были еще ворота, в которые виднелся жалкий садик. Не доходя до них, вправо, почти в углу, была небольшая дверь, около которой стоял жандармский часовой. Дверь была отворена; но вахтер в темных и грязных сенях, откуда шла вверх такая же грязная лестница, позвонил в какой то разбитый, но громкий колокольчик. Он давал знать наверх о прибытии начальства.

Мы поднялись во второй этаж. Тут перед нами оказалась тяжелая дверь из продольных железных жердей, как у звериных клеток, с тяжелым замком. За дверью полумрак; там, в недлинном корридоре, шагов в тридцать, виднелись солдаты с ружьями, два или три.

Вахтер отомкнул замок, и мы прошли в самую глубь корридора, мимо трех одностворчатых дверей, со стеклами в верхней половине, которые снаружи были задернуты белым коленкором. Такую же дверь (это была крайняя) отперли мне.

Новый номер был далеко не так изыщен, как первый. Стены голые, просто выбеленные; диван крошечный, старинного фасона; вместо стола какой то шкафчик и два старомодных стула. Койка была такая же железная, как и там. Около нее, у самой печки, (больше некуда было поставить) возвышался громадный ящик крышка которого не совсем плотно прикрывалась. Постоянная отравка из этого ящика слышалась в тепло натопленной комнате. Потолок был низкий, опять таки не то, что было в первом моем помещении, где он был и высок, да в добавок еще и с лепными какими то украшениями. И печь, выходившая на полкирпича

в комнату, была самая простая, а там изразцовая и с разными художественными орнаментами. К счастью, в новой моей комнате было два окна, и оба еще с одной раме. Их можно было отворять. Решетки в них были такие же.

Номер имел форму трапеции, как и двор перед окошками. Кровать стояла у стены, образовавшей тупой и острый углы.

Опять раздевание, и опять я был в белом халате. Смотритель с вахтером ушли; я остался один и стал смотреть в окно.

Во дворе было пусто. Изредка проходил какойнибудь жандарм, то солдат, то в офицерской шинели, приезжал курьер в тележке, с пакетами, баба проходила или дама. Появление дам заставило меня предположить, что в самом здании есть шпионские квартиры, со шпионшами и шпионятами. Им-то, конечно, принадлежали эти окна в третьем этаже, справа от моих окон, завешанные гардинами, с горшками цветов. Этажом ниже были видны в окна столы, этажерки с бумагами и все прочие обычные принадлежности присутственного места. Это было, как я предположил, самое ядро шпионской деятельности. У одного из окон показывался то дежурный гусар с флюсом, то чиновник со светлыми пуговицами, должно быть, тоже дежурный.

Я слышал шаги у своей двери и оглянулся. Белая занавеска, заслонявшая с той стороны стекло, была отдернута, и ко мне глядело солдатское лицо с черными усами и бакенбардами, в какойто белой куртке. Вслед затем повернулся ключ в замке, и этот самый длинный солдат, несколько облысевший спереди, с худощавым и довольно добродушным лицом, внес ко мне нанизанные на ремень судки с обедом. Он постлал на шкафчике, заменявшем стол, салфетку, вынул из него солонку и затем расставил судки, показывая мне содержание каждой глиняной чашки, словно хотел пленить меня. «Вот суп, ваше вб-дие, а вот холодное, а вот жареное,—а огурцы тут (огурцы лежали в застывшем говяжьем сале); а вот и пирожное на закуску, вб-дие».

Не смотря на чувство, как будто, голода, я не мог есть. Неприятное раздражение все еще не проходило. Я хлебнул ложки две жидкого трактирного супу, и мне показалось, что, если я с'ем еще ложки две, меня, пожалуй, стошнит. К супу была серебряная ложка, но к остальным блюдам таких опасных орудий, как нож и вилка, не полагалось.

III.

Только к сумеркам я стал немного успокаиваться, но успокоился не надолго. Опять слегка отдернулась занавеска, опять повернулся ключ в двери. Вошел черненький вахтер с моим платьем и предложил мне одеться.

— Куда?

— Не могу знать-с.

Я оделся.

Тут пришел гусар с флюсом и сказал, что меня просят в «Экспедицию».

Когда в коридоре вслед за нами хотели направиться в виде конвоя два солдата, гусар развязно махнул им рукой и сказал гуманно и современно: «Не надо!»

Мы вошли во двор, потом в ворота направо, где был цветник, обошли его кругом и по разным лестницам и коридорам пришли к двери, на которой было написано: «2-е отделение». Я прочел эту надпись совершенно равнодушно, еще вовсе не подозревая, что она почти равняется для меня, по значению, надписи над воротами Дантова ада.

Прихожая; потом что то в роде канцелярии. Тут за тремя или четырьмя столами сидело человек пять, не смотря на праздник, и строчило какую то черноту (Дела, как я заметил потом, тут много. Все пишут и пишут). Прогресс давал о себе знать тем, что некоторые из этих господ вставали с места и закуривали у камина папиросы. Как вообще всякий чиновник, они желали выказать свой вес тут при постороннем: проходя мимо, принимали какую то особенно развязную походку и беспечный вид. Лица, разумеется, пошлые, как и следует иметь шпионской мелюзге.

— Посидите, пожалуйста, здесь,—обратился ко мне опухший гусар, а сам отправился доложить.

Через несколько минут дальнейшая дверь отворилась, и оттуда сделал несколько шагов вперед высокий чиновник во фраке со светлыми пуговицами и Станиславом на шее. Остановившись почти посредине комнаты, он обратился к мне с приглашением:

— Не угодно ли вам пожаловать сюда г. Михайлов?

Я пошел и чрез маленькую проходную комнату очутился в самом сердце 2-ой экспедиции. Дверь чиновник за собою затворил.

IV.

Тут стояли все шкафы кругом и один только письменный стол.

Чиновник, стоявший теперь передо мной лицом к лицу, был еще почти молодой человек (он мне сказал, как то потом, что ему 36 лет). Лицо у него было сухое, бесстрастное и не злое. В выражении было что то напряженное, как будто он постоянно прислушивался к чему то. Фамилия чиновника—Горянский. Эконом и сторож называли его не иначе, как Федором Ивановичем¹⁾. Он был худощав, с несколько втянутыми щеками, с тонкими и постоянно запекшимися губами, как будто от долгого поста или от долгого молчания. Черные волосы, черные глаза с синевой под веками, тонкий нос и смуглый цвет лица сообщали ему вороний характер. Эти черты были почти постоянно в нервном движении так же, как и сухие руки.

— Я очень уважаю ваш талант г. Михайлов,—сказал он с возможно любезным видом,—и очень сожалею, что мне приходится познакомиться с вами при таких обстоятельствах.

¹⁾ Фед. Ив. Горянский (р. ок. 1826 г.), из дворян. В III Отделение поступил в авг. 1850 г. младшим чиновником; во время допросов М—ва исправлял должность старшего чиновника экспедиции; в 1870-х гг. заменял управляющего III Отделением на время его отсутствия. В мае 1880 г. по расстроенному здоровью вышел в отставку; умер после 1881 г.

Как будто я мог бы познакомиться с ним при других!

— Да в чем дело?—спросил я. — В чем меня подозревают?

— На вас падает сильное подозрение, во первых, в сочинении прокламации к крепостным людям ¹⁾, во вторых, в привозе из-за границы другого печатного воззвания «К молодому поколению» и в распространении его.

— Да на чем основываются эти подозрения?

— Против вас есть показание некоторых лиц, и кроме того—вот-с!

Он взял со стола письмо и подошел с ним ко мне. Я сел у окна.

— Известна вам эта рука?

Довольно было взглянуть раз на рукопись, чтобы узнать почерк Костомарова. В первых же строчках бросилось мне в глаза: «М. Михайлов».

— Чье это письмо, не знаю—сказал я.—Дайте прочесть.

Горянский боялся дать мне его в руки. Он положил его на окно и придерживал сверху, вероятно, чтобы я не схватил и не разорвал его.

В письме ²⁾ Костомарова, адресованном к Ростовцеву, говорилось, что на него, Костомарова, сделан донос его собственным братом, и при этом украдены рукописи, из коих одна писана рукою М. Михайлова и может сильно его компрометировать. Далее он просил справиться у Плещеева ³⁾ о моем адресе и поехать, или послать ко мне в Петербург предупредить меня, чтобы я (вот что было умнее всего) «принял все зависящие от меня меры уничтожить»,—не то, чтобы уничтожил, а именно сделал со своей стороны все возможное, чтобы уничтожить все до единого экземпляры «К молодому поколению» (и это почеркнуто для большой выразительности).

Какое сцепление мыслей заставило Костомарова писать подобные вещи, когда за ним наблюдали (он и это упомянул в письме), зачем понадобилось ему извещать меня, когда пять строк, написанных моею рукою, без его собственного показания, не подали бы никакого повода подозревать не только меня, но и кого бы то ни было, понять все это очень трудно. Если это письмо было написано не с преднамеренною целью выдать меня, то в это время в голове Костомарова происходил странный процесс. И добро бы оно обличало торопливость, состояло из набросанных наскоро беглых строчек! Нет, оно было довольно длинно и написано спокойной рукою. Только тупоумный человек мог дописать его до конца, не уничтожив. И хоть бы оно писалось в другой город, а то в том же городе посылать подобную пидулку с горничной. Ничего не понимаю! В письме именно говорилось, с изумительной логикой: «за мною следят, так я посылаю это письмо с Александрой» (так кажется, была названа горничная).

¹⁾ «К барским крестьянам» Н. Г. Чернышевского, как о том донес Всев. Костомаров, получивший прокламацию от М. П. М.—га для напечатания.

²⁾ Об этом письме см. выше—примечание на стр. 25, 27.

³⁾ Плещеев, Алексей Николаевич (1825—1893), известный поэт, истрашвец. Сфабрикованное Вс. Костомаровым письмо Н. Г. Чернышевского к Плещееву сыграло решающую роль в осуждении Чернышевского на каторгу (См. М. К. Лемке, Политич. процессы. СПб., 1907.).

Дальнейшее содержание письма просто озлобило меня своею подлостью. Костомаров прямо говорил, что он ничего не скроет про московских студентов, потому, видите ли, что они не стоят того, чтобы их беречь!

Я уж никак не могу сказать, чтобы поступал умно в III Отделении. Но этому не мало содействовало опасение, что откровения, сделанные уже Костомаровым (как я уже сразу увидел из слов Горянского), могут сопровождаться еще большими откровениями.

— Вы признаете руку Костомарова? — спросил меня Горянский. — Он признал это письмо.

Я промолчал и еще раз перечитывал письмо.

Горянский в это время говорил, что упорство мое в показаниях только повредит мне, именно заставит перевести меня в крепость, где я буду содержаться с величайшей строгостью. Этим он, кажется, хотел испугать меня, но, конечно без толку.

— III-му Отделению, — продолжал он, — хорошо известны и лица, содействовавшие вам в распространении воззвания. Уж и теперь арестованы некоторые, но придется арестовать и других.

Он назвал несколько имен.

— Мы давно уже не арестовывали женщин, — продолжал Горянский, — а теперь должны были прибегнуть и к этой мере. Арестованы мать и сестра Костомарова. Часа через полтора после вас взята и полковница Шелгунова ¹⁾.

Перечитывая письмо Костомарова, я думал, как бы объяснить его так, чтобы оно не могло служить обвинением мне. Я, разумеется, прежде всего не признал бы самого письма, если бы меня не сбили немного с толку слова Горянского.

Мне казалось, самым удобным сказать, что из-за границы я действительно привез несколько экземпляров воззвания (именно 10), но их не распространял а уничтожил, боясь ответственности; что Костомаров видел у меня только один экземпляр, что было совершенно справедливо; а что касается рукописей, то я не помню, какие у него могут быть компрометирующие меня бумаги. Пусть мне покажут.

— Их у нас нет, — отвечал Горянский, — они переданы Следственной комиссии, назначенной над студентами, но вы их увидите завтра.

Вскоре его потребовали к «графу Петру Андреевичу» ²⁾, и он попросил меня выйти с ним опять в канцелярию и там подождать.

V.

Тут на этот раз был Путилин в черном фраке и со Станиславом на шее. Этот Станислав здесь чуть не на каждом шагу. Он немедленно подступил ко мне со сладкой улыбкой и стал тоже предлагать вопросы. Я ему отвечал вскользь. Он возбуждал во мне особенное отвращение.

¹⁾ Никто из упомянутых лиц не был арестован; Горянский упомянул об аресте Л. П. Шелгуновой, зная, очевидно, отношения к ней М. П. М-ва.

²⁾ Шувалову.

Он обратился ко мне прежде всего с вопросом:

— Ведь вы изволите знать Благолюбова?

— Нет, не знаю.

— Как не знаете-с? Он-с ведь в одном с вами журнале участвует.

— Нет, такой не участвует.

— Ах, виноват-с. Я хотел сказать: Добролюбова. Его знаете-с?

— Знаю.

— Давно с ним виделись?

— Недавно.

— На той неделе-с?

— Не помню.

— Вы ведь изволили с ним вместе за границей быть?

— Вовсе нет.

— Но с ним там виделись?

— И того нет.

Все в таком диком роде.

Смеркалось уже. Зажигали свечи. Глупые вопросы Путилина были прерваны приходом Горянского, который попросил меня идти с ним к Шувалову.

Я прошел разными корридорами и лестницами в ту самую приемную, где дожидался Шувалова в день бывшего у меня обыска. Горянский юркнул сначала к нему в кабинет, потом ушел из приемной. Тут был только дежурный, развязно садившийся то на тот, то на другой стул, но не гусар с флюсом, а другой.

Шувалов выглянул и позвал меня.

VI.

У него горела свеча на письменном столе и топился камин. Этот кабинет, куда, как в лужу, стекаются эссенции доносов и шпионства, был уже мне знаком, но я его еще не описал. Довольно большая комната эта была тоже обставлена с одной стороны дубовыми красивыми шкафами. Почти по середине, задом к камину, письменный стол. На камине часы, канделябры. Несколько мягких кресел, кажется, и диванов. Вообще, кабинет имел вид более домашний, чем официальный.

Шувалов остановился по одну сторону стола, я—по другую. У него лицо как то странно подергивало.

— Вы не хотите сказать, г. Михайлов, той правды, которая нам очень хорошо известна,—начал он.—Когда вы были у меня, тогда я уже очень хорошо знал вашу виновность; а теперь все окончательно подтвердилось. Теперь вы заставляете меня действовать, как бы мне и не хотелось.

(Тут же мне пришлось узнать, что он не только либеральный, но и честный человек. Он уверял в этом, ударяя себя в грудь).

Затем, те же вопросы почти повторил мне и Шувалов, которые я слышал уже от Горянского.

Он все уверял меня, что я писал прокламацию к крепостным людям, и говорил, что это несомненно и подтверждается сличением ее с моим почерком сколькими то сенатскими секретарями.

Я стоял на своем и требовал, чтобы мне показали рукописи.

— Хорошо-с, завтра вы их увидите,—сказал Шувалов. Я не хочу брать у вас признание нахрапом.

А он, верно, к этому привык в полиции ¹⁾!

— Вы привезли с собою не 10 экземпляров печатной прокламации, как говорите. Это что! Пустяки! Из-за этого вас бы нечего и преследовать. Вы привезли ее в большом количестве ²⁾ и распространяли со своими приятелями. У меня есть очень верные данные. Одному Костомарову вы предлагали для Москвы 100 экземпляров. Ведь предлагали?

Я, конечно, отвечал, что нет.

— Костомаров сам вам это сейчас подтвердит.

Шувалов подошел к двери и спросил громко:

— Что, привезли арестанта.. из крепости? — прибавил он, вероятно, для устрашения меня.

Я сильно сомневаюсь, сидел ли Костомаров в крепости.

Минуты через две (в кабинете было молчание; Шувалов закурил коротенькую папироску; ни он, ни я не садились) вошел Костомаров. Я не вдруг бы узнал его в каком то толстом пальто и обросшего большой бородой. Он мне улыбнулся; но у меня не нашлось в ответ улыбки.

Известное письмо лежало уже на столе у Шувалова. Он положил его перед Костомаровым и сказал, указывая на известные буквы:

— Что это такое? «К молодому поколению»?

Костомаров молчал.

— Г. Михайлов сознает, что это так.

— Если он сознает, — сказал Костомаров, — то это действительно так.

— Предлагал он вам 100 экземпляров?

Тут я перебил его, чтобы (глупое заблуждение) дать знать Костомарову, чего ему держаться в своих показаниях.

— Я не мог ему предлагать и не предлагал такого количества, потому что у меня самого было всего 10 экземпляров. Но и их Костомаров у меня не видал. Он видел только один экземпляр. Так ли это, Костомаров?

— Так.

— Ступайте! — сказал ему Шувалов.

Я остался. Шувалов через минуту выглянул из кабинета и спросил:

— Ушел?

Ему там ответили.

¹⁾ До назначения своего управляющим III Отделением гр. П. А. Шувалов в течение трех лет был петербургским обер-полицеймейстером.

²⁾ Прокламация „К молодому поколению“ была привезена М. И. Михайловым в количестве 600 экземпляров.

— Вы можете тоже теперь идти, — обратился он ко мне.

Не успел я выйти из кабинета, как ко мне вынырнул откуда то из мрака Путилин и сказал по секрету:

— Попросите у графа, чтобы он возвратил письма г-же Шелгуновой. Полковник давеча взял их к себе в карман. Их, пожалуй, представят при следствии.

От этих слов меня покорило, — но я промолчал.

Гусар с флжсом ждал уже меня, и мы отправились.

VII.

Когда, пройдя двор с садиком, мы вошли в ворота, я взглянул на окно своего каземата. Окно рядом с моими окнами было освещено. Штора не была спущена, и мне показалось, — у окна сидит девушка, белокурая, с распущенными на плечи волосами. Горянский, значит, не врал о женских арестах.. Это меня встревожило.

Наш корридор был освещен газом. Вахтер явился за одеждой. Самохвалов (так звали сторожа — длинного унтера с черными баками) принес стакан чаю с хлебом.

Ночь я провел тревожно, — и почти не спал до самого света. Если эта ночь была первая, то не последняя.

Когда я лег в постель, Самохвалов принес ночник, поставил его на окно, опустил шторы, потушил свечу и пожелал мне спокойной ночи. Затем он запер дверь и вынул из нее ключ, который днем обыкновенно оставался в замке. Я думал, сердился на себя и на Костомарова, волновался, обсуживал и проворочался всю ночь с боку на бок. Понятно, какого рода мысли не давали мне спать. Я упрекал себя, что не стоял на совершенном отрицании всего, что сознался и в 10 экземплярах, хотя дело и могло окончиться в этом случае непродолжительным арестом. Я чувствовал уже, что Костомаров не поддержит меня. Мне становилось ясно, что Костомаров высказал все, что знал, и даже, что подозревал. И в то же время мне не хотелось так дурно думать о нем. (Это то и сгубило меня). Я придумывал, как поступать дальше, но видел, что уже сразу испортил дело. И надо всем этим господствовало опасение, как бы в дело не впутали других.

Во дворе было время от времени движение. Слышалось бряцание сабель, приезжали какие то тележки. Я вставал и смотрел в окно, отогнувши штору. Мне воображались целые истории арестов, (которых, может быть, и не было). Только к утру движение совсем прекратилось, за исключением мерных шагов смены, при чем слышалась команда и бряцание ружей. Тогда раздавались громкие шаги и в нашем корридоре. Гремела железная дверь, шагали солдаты, отдергивалась занавеска у двери, и лица с усами смотрели, что делает арестант. И часовой, оставшись уже один у двери, тоже по временам заглядывал.

Ночник меня стал гаснуть. Мне не хотелось вставать, чтобы поправить его. Вдруг я услышал голоса во дворе и потом на лестнице:

— Что-ж это? Там ночник погас. Зажечь!

— Эй, Самохвалов! В № 6 ночник.

— Что, погас?

— Да. Дежурный увидал.

— Сейчас.

Я встал, поправил светильню спичкой, и она ярко загорелась. Мне не хотелось, чтобы ко мне лезли и ночью, и Самохвалов, заглянув в мою дверь, остался, повидимому, очень доволен и произнес с удивлением:

— Горить.

С тяжелой головой пролежал я до рассвета почти, не умея еще сообразить и часов по смене. Я слышал и звон к заутрене, и к ранней обедне, и заснул, видно, всего часа на полтора.

Чтобы позвать к себе сторожа, нужно было только постучать в стекло двери. Часовой передавал требование дальше.

Самохвалов принес умывальный и полотенце, подал мне умыться, убрал постель, вывел комнату и потом вскоре принес чаю. Он спросил меня, не желаю ли я чегонибудь читать, и сказал, что у них есть книги, которые переходят из № в №, казенные. Я просил принести. Это были разрозненные №№ «Русской Беседы», «Библиотеки для чтения», «Revue étrangère». Читать в них было нечего, да и охоты у меня не было.

Часов до двенадцати я ходил из угла в угол или смотрел в окно. Во дворе проходили опять то жандармы, то чиновники, то дамы, вероятно шпионские жены и дочери. Точно так же, как и накануне, приезжал в тележке курьер с бумагами и пр. Окна не были закрашены.

VIII.

Часов в двенадцать вахтер принес платье, пришел дежурный офицер, уже другой, другого полка, и я пошел опять в экспедицию. Тот же Горянский выложил передо мной две известные мне прокламации: к солдатам и к крепостным людям,—разумеется, придерживая их слегка.

При этом он сказал мне:

— Костомаров показывает, что он взял эти рукописи в квартире студентов Петровского и Сороки ¹⁾.

¹⁾ Петровский-Илленко, Петр Семенович (р. 1835) и Сороко, Иосиф Казанович (р. 1839)—оба студенты Московского ун-та из кружка П. Гр. Заичневского. Первый обвинялся в печатании и распространении книги Огарева „14 декабря 1825 г.“; второй—в распространении прокламации „К солдатам“ и „К барским крестьянам“. О передаче ему для В. Костомарова рукописи „К солдатам“ упоминает в своем допросе 23 окт. М. И. Михайлов.—Петровский был признан виновным и присужден к годичному заключению в Смирительном доме и к высылке в Самарскую губ.; в 1870 г. освобожден от надзора. Сороко, оставленный в сильном подозрении, в 1863 г. принял участие в Польском восстании,—за что был лишен всех прав состояния и сослан в каторжные работы на десять лет; в 1874 г. возвращен из Сибири и поселился в Царевококшайске (Казанск. губ.).

Это меня очень смутило возможностью новых компрометирующих показаний.

Может быть, это и глупо, было с моей стороны, но опасение худшего заставило меня сказать, что только одно из этих воззваний мог он взять у Сороки а другое получил от меня.

Когда я указал на строки, написанные мною в прокламации к солдатам ¹⁾, Горянский был, повидимому, удивлен. По их соображениям выходило (вопреки показанию Костомарова), что, напротив, прокламация к крестьянам написана моею рукой.

Вот и все почти, что произошло в это свидание. Да, я забываю одно

Накануне я видел в экспедиции взятые у меня коробки с бумагами, еще завязанными и запечатанными. Теперь не было на них уже ни бичевок, ни печатей и все из них было, повидимому, выбрано. Это я заметил тотчас, как вошел, и тотчас же спросил Горянского, почему не призвали меня и не распечатали этих коробок при мне. Я мог бы при этом кое-что объяснить. Да к тому же для чего иначе было прикладывать к коробкам мою печать?

Горянский принял при этом несколько торжественный вид, насколько было это возможно при его фигуре, и заметил, с гордостью:

— Вы забываете г. Михайлов, что здесь канцелярия его величества. Печать ваша не имеет здесь значения.

И я-то наивен! Как будто не знал, что тут-то именно и письма специальным образом подпечатываются.

IX.

Только что воротился я в свой номер, сторож принес обед, совершенно похожий на вчерашний. Но я не с'ел и двух глотков супу, как Горянский явился у меня в номер. Обед и без того был мне противен; а тут я, разумеется, уже и в рот не мог его взять. Я сказал, чтобы его убрали.

Горянский старался отбросить свой официальный, чиновничий характер, но это ему не удавалось. Он сел, попросил позволения закурить папироску и спросил меня, не знаю ли я, где в настоящую минуту студенты Сороко и Петровский. Их найти не могут. Оказалось, что до показания Костомарова на них и подозрения никакого не падало. Я же, напротив, по слухам думал, что Сороко арестован.

Потом Горянский спросил:

— А где брат Костомарова, вы не знаете?

— Какой брат?

— А вот, про которого он пишет, что донес на него.

¹⁾ Небольшая поправка к воспоминаниям Н. В. Шелгунова («Гол. Мин». 1918, № 4—6, с. 66), который говорит, что воззвание «К солдатам» было написано им в нач. 1861 г.

— Да вы разве не знаете этого?—спросил я с удивлением.—Я то его и не видывал никогда.

— Мы его давно ищем,—и не знаем, где он.

Я тогда же начал думать, что донос брата—выдумка Костомарова ¹⁾. Хотелось бы раз'яснить эту историю.

Скажу несколько слов о Горянском. Вообще, это редкий подлец до глубины души, до мозга костей. Я сказал, что в выражении лица у него не было злого; но подлость характеристически отпечатывалась в каждой черте, в каждом движении мускулов. У меня было довольно времени всмотреться в это гадкое лицо. Со второго дня моего ареста, он меня посещал ежедневно в течение двух недель. Заходил и потом, но уже не так часто. Любопытнее всего было наблюдать за тою игрой, которую он старался искусственно сообщить своему лицу.—Игра эта не удавалась ему. Сухое и черствое лицо не поддавалось усилиям выразить то, что требовалось выразить в данную минуту на основании тонких шпионских соображений. Но в усердии с его стороны в этом отношении не было недостатка. Напротив, он иногда, можно сказать, весь превращался в это усердие. Надежды терять, впрочем, нечего. Он еще молод. К старости, того и гляди, постоянная практика сделает свое, и его теперь неподатливое лицо будет принимать какую угодно маску, если только мы будем оставаться со своим тысячелетним терпением покорными зрителями этого разбойничьего вертепа у Цепного моста.

Х.

С этого второго дня моего ареста я могу более или менее одинаково охарактеризовать все дни моего заключения. В первые две недели я не знал ни одной спокойной минуты. Только вечером, да и то после известного часа, мог я уже не ждать посещения Горянского или Путилина, или того, что меня потребуют в экспедицию или к Шувалову.

Говорить с этими господами было для меня истинной пыткой. Они постоянно делали мне в разговоре разные пугавшие меня намеки, на которые я старался не выказывать никакого ни любопытства, ни внимания, тогда как внутренне они меня очень тревожили. На предложенные мне Горянским вопросные пункты о прокламации «К молодому поколению» я отвечал тоже, что и на словах. (Рукописи, конечно, казались им не особенно важным делом). По этим ответам со мною нельзя было бы сделать ничего особенного. Я решил стоять на этом до конца, и, если бы не страх, что Костомаров замешает тут еще когонибудь, дело кончилось бы разве высылкой меня из Петербурга. Намеки не сходили у Горянского с языка. Он играл передо мною, как фокусники играют ножами, разными именами, не уставая повторять их. Между прочим, мне предлагали вопросы о Вене, давно ли он приехал из деревни, был ли в Петербурге, когда я вернулся из за-границы. Но это было

¹⁾ О Ник. Дмитр. Костомарове и его письме—см. выше—примеч. на стр. 20.

много спустя, почти перед самым переводом меня в крепость. Вероятно, в то время держали его в III Отделении, дожидаясь, что я скажу ¹⁾).

Говоря об этих ежедневных вопросах, мучивших меня и сами по себе, и особенно— теми тревожными мыслями, которые они всякий раз оставляли во мне, я говорю собственно о посещениях Горянского, у которого я был, кажется, главным предметом наблюдения все это время. Путилин, не знаю почему (верно по глупости своей), был для меня еще противнее; но он заходил реже, и я почти ни на один его вопрос не отвечал, так что он должен был поведоме уходить от меня довольно скоро.

Оригинальнее всего были расспросы Шувалова, к которому меня водили раз пять-шесть. Он обыкновенно спрашивал в таком роде:

— Как вы ни запирайтесь, а г-жа Шелгунова знала об этом деле. Это мне известно, как нельзя лучше.

— Не знала.

— Нет, знала.

— Нет, не знала.

— Нет, знала.

И так далее, до злости.

— Ну я понимаю,—переменял он тему,—что вы не хотите выдавать женщину; но брат ее знал. Мы не можем оставить его без наказания.

— Нет, не знал.

— Нет знал, и помогал вам.

— Нет, не знал.

— И что вы его защищаете? Знал.

— Нет, не знал.

— Знал, я вам говорю.

— А я вам говорю, что не знал.

Это он, должно быть, называл: не брать нахрапом.

Пример допроса, приведенный мною, я взял из времени, следовавшего уже за моим показанием. До этого вопросы были и другие, но характер исследования был тот же.

— Зачем вы не хотите сказать, что распространяли прокламации вы?

— Да я не распространял.

— Распространяли.

— Нет.

— Распространяли.

— Нет же.

Кроме допросов Горянского, меня, впрочем, ничто не смущало. Он с каким то особенным искусством умел разнообразить свои вопросы и томить меня по целым часам.

¹⁾ „Веня“ — Евгений Петров. Михаэлис, брат Л. П. Шелгуновой, был арестован в конце сентября 1861 г., но не в связи с делом М. И. М—ва, а как депутат, выбранный студентами для объяснений с попечителем учебного округа. За участие в студенческих беспорядках 1861 г. сначала был выслан в Петрозаводск, а потом в Тобольскую губ., — см. «Кодол» 1863, № 173, а также воспоминания Н. В. Шелгунова.

XI.

Дни, разнообразные только по моим беспокойным думам, тянулись так.

Я вставал около семи-восьми часов. Следовало умыванье, питье чая, к которому не подавалось молока и давалась трехкопеечная булка. Потом начиналось досадное ожидание посещений. Я попробовал читать, но не находил в этом развлечения. Я спросил у Шувалова газет, и мне приносили «С.-Петербургские Ведомости», «Инвалид». Но все это было только в первую неделю. Потом газет мне не стали давать. Таким образом, я лишь случайно узнал по попавшему ко мне отдельному № «Русского Мира» что университет закрыт ¹⁾. Об этом событии я, правда слышал от Путилина и от смотрителя, но не совсем им поверил. Достаточно было пробыть тут три-четыре дня, чтобы видеть, что из всего рассказываемого по меньшей мере $\frac{3}{4}$ оказывается ложью.

По утру обязан ходить по номерам дежурный с вопросом, не желает ли арестант чегонибудь. Но ко мне дежурные не всегда заходили. Эта подающая надежды молодежь часто ограничивалась тем, что, отдернув занавеску двери, заглядывала ко мне в стекло.

Утром же довольно часто заходил ко мне смотритель капитан Зарубин. Он сообщал мне преимущественно театральные новости. На каждую новую пьесу он ездил. Вдавался иногда в политику и либеральничал, а вслед затем жаловался на бездну хлопот в III Отделении. Все, говорил, так было хорошо. Сколько времени почти все номера стояли пустыми, а теперь не знаешь, куда девать всех, кого арестуют.

— Правительство ведь идет же понемножку вперед,—рассуждал Зарубин.— Нельзя же вдруг. А вы, господа, прогрессисты, очень уж торопитесь. Все бы вам сразу.

День, два, три и четыре я не прикасался к обеду. Не говоря уже о том, что он успевал простыть по пути из трактира (откуда его брали), а если его подогревали, то вонял салом, и вообще был довольно противен, я не мог есть и потому, что приносили его в двенадцать, в час. Это случалось, значит, или непосредственно вслед за приятными беседами со мной моих милых следователей, или в ожидании их, или же, наконец, во время самых визитов. Только в сумерках я как будто чувствовал себя немного легче. Беспрестанные отворяния железной коридорной двери, голоса разных местных распорядителей, шаги их и распоряжения по коридору только тут умолкали. В остальное время, прислушиваясь к этим голосам и шагам, я того и ждал, что вот идут мучить меня разговорами. Это так и случалось. Капитан Зарубин был наиболее сносным исключением. Он, повидимому, не имел ни обязанности, ни особого призвания раз узнавать у меня чтонибудь, говорил больше сам, и все-

¹⁾ Петербургский университет был закрыт 24 сентября 1861 г. в самом начале студенческих волнений, вызванных новыми распоряжениями министра нар. просв. относительно внутренних распорядков университетской жизни (введение матрикул, уничтожение сходок и т. п.).

таким я узнавал у него, хотя урывками, кой какие новости. Я ему сказал, что совсем не могу есть так рано, и он мне предложил присылать обед в четыре или в пять часов. В двенадцать же я хотел иметь кофе. Он и на это согласился.

Около сумерек чиновники расходились из присутствия по домам; Шувалов (если бывал в III Отделении) тоже уезжал. Значит, можно было вздохнуть посвободнее. Я следил, обыкновенно, из окна, как они расходятся. Перемена времени обеда не прибавила мне, однако-ж, аппетита.

Я заметил некоторое изменение в характере блюд и спросил у Самохвалова, не из другого ли это трактира обед. Он сказал мне, что об эту пору они из трактира обеда не берут, а этот от капитана Зарубина, который снабжает им всех арестантов, обедающих так поздно, как я. В это время и сам он обедает.

— Такая эта капитанша милосердная,—заметил Самохвалов,—что поискать другой.

Его удивляла моя умеренность. Я редко ел чтонибудь, кроме супа да салата, иногда разве оставлял у себя кусок какогонибудь сухого пирожного.

— Что же вы не кушаете, ваше высокоблагородие?—говорил он ласковым и добродушным тоном.—Разве не нравится вам?

— Нет, не естся что то.

— Да вы огорчаетесь, я полагаю, ваше высокоблагородие? Так вы не огорчайтесь. Что ни Бог! Что ни Бог, ваше высокоблагородие! У нас иные и по 10 месяцев сидели, да на волю выходили. Что ни Бог, ваше высокоблагородие!

Не было почти дня, чтобы у меня не болела голова и не билось сердце до тошноты. Я продолжал мучиться бессонницей. Ночь проходила у меня в возне с боку на бок. Если я и засыпал на полчаса, на час, то этого нельзя назвать сном. Какая то чуткая дремота это была; наполненная в то-же время беспорядочными и неприятными грезами. В них все продолжались и допросы, и думы мои, и опасения. Малейший шум в коридоре будил меня. Сплошь и рядом я не мог разобрать, дремал ли я, или просто думал. Я с тоской ждал, считая смены, скоро ли дневной свет сделает ненужным эту лампадку, тихо потрескивающую на окне.

Я потребовал на третий или четвертый день взятые с собою книги и хотел начать писать. Мне дали и бумаги, и перьев, и чернил, но книг моих разом не дали, а давали по одной, по две.

Мне казалось, что во время письма мне удастся лучше сосредоточить свои мысли на чем-нибудь постороннем. Но это было заблуждение. Писать мне было еще труднее, чем читать. Только сильнее разбалчивалась и тяжелела голова. Я бросил это и, оставаясь один, только ходил из угла в угол, считая концы. Таким образом, и тут (как потом в крепости) мне случалось насчитывать в течение дня до 1500 концов. Устав ходить, я ложился на постель и рассеянно читал.

Иногда, застав меня лежащим, Самохвалов замечал:

— Вы опять на койку (он произносил именно так мягко) легли, ваше высокоблагородие? Должно быть, все огорчаетесь? Что ни Бог, ваше высокоблагородие. У нас что,—вот не дай Бог, в крепости! А здесь что? Поддержат и выпустят. Что ни Бог, ваше высокоблагородие!

Я вступал с ним иногда в разговор и старался его порасспросить кой о чем. Но он трусил отвечать, понижал голос и косился на двери. Он жаловался, что дела ему много, что все номера в его отделении заняты, что с одними обедами хлопот пропасть, а там еще уборка комнат, чай и пр.; что некоторые арестанты так пачкают пол и сорят сигарами, что надо каждый день мыть; что некоторые очень капризны, сердятся, кличут каждую минуту за вздором, беспрестанно спрашивают, который час.

— Хочу уж часы в коридоре повесить. Есть там в сторожке. Пусть тут бьют.

Он и сделал это. Но боем часов я наслаждался всего дня два. Начальство приказало их снять. Верно, считало это баловством. Моих часов мне не давали, хотя я просил не раз.

Я спросил Самохвалова, есть ли между арестантами женщины. Он сначала не хотел отвечать, но потом сказал шепотом, что теперь нет, а бывали. Только им прислуживают бабы, а не он. Мне хотелось знать, кто же это около меня. Он сказал, что это молодой человек, совсем мальчик, волосы по плечам. Я догадался потом, что это был московский студент. Я видел его из окна, во дворе в студенческом мундире, и думал, что его выпускают на свободу; но—как мне сказали потом в Следствен. комиссии,—его перевели из III Отделения на с'езжую (кажется, Обермиллер фамилия)¹⁾.

В другой раз я увидал в окно—как мне показалось—Вл. Обручева²⁾, идущего с дежурным офицером, вероятно, из экспедиции. Я думал, не ошибся ли. Но это потом подтвердилось.

Но чаще всего, по несколько раз в день, видел я одного арестанта: господина с седой французской бородкой, в сером инвернесе. Меня удивляло, что его так часто допрашивают, но Самохвалов объяснил мне, что он ходит просто гулять по садику. Я мог бы тоже отпраиваться на прогулку, но у меня не было на это ни малейшей охоты. Перед арестом моим я слышал, что в III Отделение взят некто Перцов³⁾, тоже отчасти литератор. Я почему то решил, что это именно он. Раз он

¹⁾ Вероятно, М.И.М-в говорит о Иване Иван. Гольцмиллере, студенте Моск. ун-та из кружка П.Гр. Заичневского; при обыске у него были найдены отлитографированные экземпляры «Колокола». Приговоренный к заключению в Смирительном доме на три месяца, И.И. Гольцмиллер был выслан под надзор в Симбирскую губ.; в 1865 г. ему разрешено поступить в Новороссийский ун-т; в 1869 г. выслан из Одессы и поселился в Орле, а потом в Курске где и умер в 1871 г.

²⁾ Обручев, Владимир Александрович (р.д. в 1836) арестован 4 окт. 1861 г. по делу о распространении «Великорусса», членом комитета которого он состоял. См. „Полное собр. сочин. и писем А. И. Герцена“, т. XVI, с. 72,—статью М.К. Лемке, Процесс, Великорусцев в его „Очерках освобод. движения 60-х гг.“ СПб., 1908, с. 359 сл. и автобиографические записки В.А. Обручева в „Вестн. Евр.“ 1907, № 5—6 (Из пережитого) и 1908, № 10 (После ссылки).

³⁾ Упоминаемое М. И. Михайловым лицо—Эраст Петр. Перцов—действительно находился в это время под арестом в III Отделении. Он был арестован 29 авг. 1861 г. по подорожению в доставлении им статей в „Колокол“ Герцена; в нач. ноября 1861 г. был выслан на жительство в Новгород с воспрещением проживать в столице.

вышел с каким то узелком. Во дворе стояла извозчичья карета. Он сел в нее один и уехал. Я так и думал, что его освободили. Видя его потом во дворе, я предполагал, что он приходил за какими нибудь справками. Но жандармы, везшие меня до Тобольска, сказали мне, что он все еще содержится у Цепного моста, а тогда ездил в сопровождении вахтера в торговую баню.

Раза два—три проходил по двору Б. ¹⁾ Он смотрел на мои окна и, вероятно, узнал меня. Я нарочно становился ближе и смотрел в открытую форточку. Однажды он поднял руку ко рту и сделал как будто три воздушных поцелуя. Может быть, они относились к Обручеву, а может быть, и к обоим нам.

Я забыл сказать, и скажу теперь кстати, что меня не раз спрашивали, не известно ли мне откуда идет «Великорусс» ²⁾. На отрицательный ответ мне замечали: «знаете, да сказать не хотите». Но и только.

XII.

Почти две недели допросов и надоеданий не подвинули дела моего ни на шаг, и я уже начинал думать, что тем все и кончится.

Однажды, призванный к Шувалову, я услышал от него следующее:

— Я имею положительные данные, что прокламацию «К молодому поколению» написали вы.

— Какие же?

— Мне говорил один литератор, что вы читали прокламацию свою в рукописи еще другому литератору, т. е. не литератору, а брату литератора, именно Серно-Соловьевичу, — что вы на это скажете?

— Что это выдумка. Какой же это литератор говорил?

¹⁾ Возможно, что М. И. М.—в говорит здесь о докторе Петре Иван. Бокове (р. 1835), женатом на сестре Вл. А. Обручева, привлеченном вместе с ним по делу о распространении «Великорусса». Освобожденный от ответственности по этому делу П. И. Боков был членом «Земли и Воли» 1860-х гг., о чем говорит в своих воспоминаниях Л. Ф. Пантелеев. Если верить воспоминаниям А. Н. Витмера, Боков послужил оригиналом для изображения Лопухова, героя романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?». («Истор. Вестн.» 1915 г. № 12, с. 819—Святой человек).

²⁾ Листок «Великорусс» (вышло 3 № №)—первое нелегальное издание 1860-х гг., отпечатанное в России (№ 1 распространен в нач. июля 1861 г.) Организация, выпускавшая «Великорусс» с точностью не установлена. М. К. Лемке в XVI г. «Полн. собр. сочинений А. И. Герцена» (с. 72) приводит отрывок из записок Слепцова, который указывает что членами общества «Великорусс», кроме упомянутого выше Вл. А. Обручева, были его двоюродный брат—Н. Н. Обручев, кн. Ник. Трубецкой, В. Ф. Лугинин. Существует в литературе мнение что в издании «Великорусса» принимал очень близкое участие Н. Г. Чернышевский—см. напр. статью А. И. Хоментовской в «Историч. Архиве» (1919), кн. I, с. 324 сл. (Н. Г. Чернышевский и подпольная литература нач. 60-х гг.).—Все три листка «Великорусса», не достаточно исправно и с пропусками (особ. в № 3) напечатаны в «Материалах для истории револ. движения 60-х гг.» под ред. В. Базилевского (Богучарского) Пар. 1905, с. 26, 26-30, 30-34 (русс. изд.—18-19, 19-22, 22-25) и в «Очерках освобод. движений 60-х гг.» М. К. Лемке, СПб., 1909, с. 359-360, 360-363, 363-368.

— Да Костомаров. Вы с Соловьевичем советывались, и он еще говорил вам, что вы эту прокламацию восстановите против себя всех помещиков. Вы ему читали это перед своим отъездом в Лондон.

— Что это вздор, ясно уже из того, что я с Серно-Соловьевичем познакомился по приезде из-за границы ¹⁾.

Шувалов несколько смутился.

— Действительно?

— Да.

Об этом потом уже он не поминал.

ХІІІ.

Вскоре после этого ко мне явился Путилин с портфелем под мышкой. Он вынул оттуда печатку, в виде ручки с бархатным рукавом и спросил, знаю ли я эту печатку. Она была очень хорошо мне знакома ²⁾.

— Нет.

Он вынул несколько конвертов, прошнурованных и припечатанных, и показал мне адреса.

— А это вы писали?

— Я.

Это были адреса моих писем к Костомарову.

Он вынул еще два пакета и показал мне.

— А это?

— Это не я.

— Вы только себе вредите, не сознаваясь,—заметил Путилин.—Эго ваша же рука и печать эта ваша.

Он повернул пакеты другой стороной.

Довольно долго приставал он ко мне и с другими вопросами, слышанными мною уже сто раз. Наконец, сказал, что Костомаров прямо говорит, что прокламацию я привез в большом количестве, предлагал ему взять в Москву 100 экземпляров и пр.

— Вы это от него от самого услышите-с,—прибавил он.—Вам дадут с ним очную ставку. Он все это на очной же ставке показал. Тут из Москвы есть один господин теперь.

Не добившись от меня ничего, Путилин ушел.

Не больше, как через четверть часа после его ухода, меня позвали в экспедицию.

¹⁾ Вряд-ли М. И. М.—в сообщил Шувалову верные сведения, так как А-др А. Серно-Соловьевич был одним из немногих, посвященных в тайну и распространявших прокламацию „К молодому поколению“—см. воспоминания Н. В. Шелгунова „Гол. Мин.“ 1918. № 4—6, с. 68.

²⁾ Принадлежала Л. П. Шелгуновой и отобрана при втором обыске в квартире М.—ва—Шелгунова.

XIV.

Там встретил меня Горянский почти теми же вопросами, как и Путилин. Он говорил, что «нравственное» убеждение их, т. е. III Отделения, в моей виновности так сильно, что они употребят все средства добраться до конца в своих открытиях. На сцену опять явились печать, конверты и пр. Он что то заговорил было о чернилах, о сургуче; но, видно, сам увидал, что зарапортовался, и потому поспешил поправить дело, показав мне ответы Костомарова на предложенные ему вопросные пункты.

Эти ответы были, действительно, очень компрометирующего характера. В них он говорил о прокламации «К молодому поколению», как о моей брошюре; утверждал, что ни у кого и быть ее не могло в Петербурге, кроме меня; о числе привезенных мною экземпляров он не упоминал, но в то же время на вопрос, зачем я привез их, отвечал—вероятно, по его мнению, остроумно—что, конечно, не с тою целью, чтобы оклеить экземплярами воззвания стены своего кабинета, вместо обоев. Он подтверждал также, что рассказывал в Москве о моем предложении ему—взять прокламацию с собой—и еще не мало было глупостей самого скверного свойства в этих ответах.

По особенному тупоумию меня более всего поразил, помню, ответ на вопрос: зачем он, Костомаров, прелупреждал меня письмом?—Затем, отвечал Костомаров, чтобы Михайлов, получивши письмо, уничтожил все экземпляры (!!), и тогда, если б письмо и попало в руки полиции (?), то нельзя было бы никак догадаться, о чем в нем идет речь.

Этот ответ, чуть ли не дважды подчеркнутый Горянским красным карандашом, как особенно замечательный, рассмешил меня.

На все красноречие Горянского я ответил одним, что к тому, что сказал раз в своих ответах, я ничего не прибавлю, да и прибавлять мне нечего.

— Вот сейчас сам г. Костомаров будет здесь. Вы поговорите с ним.

Я и не думал, какой оборот могло принять и приняло это свидание.

Я решился не принимать на себя ничего более того, что уже принял, и, конечно, выдержал бы свое решение, если б Костомаров не вывел меня из терпения своими упреками.

Он пришел в сопровождении Путилина.

Горянский попросил его объяснить разные пункты в его ответах. Я уже не помню хорошенько этих объяснений, но мне памятно, что Костомаров как-то неловко старался вывернуться из нелепых фраз. Например, относительно того, что он воззвание постоянно именовал моей брошюрой или статьей, он сказал Горянскому что то в роде этого:—Ведь, говоря про этот стул, на котором вы сидите, что этот стул ваш, я этим не хочу сказать, что он принадлежит вам.

Когда дело дошло до рассказов его в Москве о прокламации, Путилин с сладостною улыбкою сообщил, что г. Костомаров подтвердил сказанное в ответах сейчас на очной ставке. Горянский спросил его. Он сначала молчал, потом ска-

зал, что он действительно подтвердил сейчас на очной ставке, да и теперь подтверждает, что рассказывал, что в сентябре месяце может добыть сколько угодно экземпляров воззвания.

Я на это заметил ему, что он мог говорить такую вещь, и не имея на это прочного основания.

— Всякому из нас,—сказал я,—случалось в разговорах преувеличивать. И вы, верно, не станете утверждать, что говорили на этот раз правду.

Я уже начинал сильно сердиться.

Костомаров стоял на своем. Я очень кротко, стараясь выбирать выражения, напомнил ему один пример сделанного им преувеличения в разговоре со мной.

Он вдруг вспыхнул и рассердился.

— Вы хотите, кажется, свалить всё на мою голову,—сказал он мне.—Валите, валите!

— Я ничего на вас не валю, да и нечего мне валить. Напротив, всё, что касалось меня в вашем деле, я объяснил, хоть и со вредом для себя.

— Говорите, г. Костомаров,—сказал Горянский.

— Да что мне говорить?—возразил Костомаров.—Он (указывая на меня) хочет играть роль невинной жертвы. Ну, обвиняйте меня!

— Нам не обвинить когонибудь нужно, а узнать истину,—сказал Горянский.— Говорите г. Костомаров.

Костомаров помолчал и потом резко сказал:

— Не удивительно, что я молчу, а удивительно, что молчит он.

Он показал на меня.

Что такое вы сказали?—вскричал Горянский.—Это замечание важное, и вы должны написать его.

Он положил лист бумаги на конторку, облокотясь на которую стоял Костомаров, и подавал ему перо. Костомаров не брал пера.

— Нет, вы должны это написать, должны,—настаивал Горянский.—В ваших словах намек очень серьезный, и он должен быть разъяснен. Пишите же г. Костомаров. Как это вы сказали? «Не удивительно, что молчите вы, а то удивительно, что молчит г. Михайлов». Извольте написать эти слова.

Костомаров все еще колебался. Я едва сдерживал злобу, которая раскипалась во мне.

— Г. Костомаров никогда не покажут несправедливо,—вмешался сладким голосом Путилин, вообще мало тут говоривший и бывший, вероятно, лишь в качестве свидетеля.—Я их довольно хорошо знаю по Москве.

— Пишите Костомаров,—сказал и я.

Он уже взял перо, но только занес его над бумагой, я остановил его словами, что у меня было гораздо большее число экземпляров, чем я показывал.

Я сказал тогда, кажется, что 150, но потом в показании прибавил еще 100, потому что иначе не мог достичь нужного правдоподобия.

Длить эту сцену очной ставки в экспедиции мне стало омерзительно. Я боялся, что она примет еще гадже характер, и уже не в ущерб мне, а, может быть, и другим. Надо было покончить.

Костомаров отошел к окну, опустился на стул и начал плакать, говоря бес-
связно.

— Ко мне пристают с утра до вечера. Мать моя в горячке...

Путилин предложил ему выпить стакан воды. Он подошел к столу, выпил и
сказал, что желал бы уйти. Горянский объявил, что это можно.

Я забыл упомянуть, что, как только я сказал о том, что у меня было 150
экз. воззвания, Горянский обратился и ко мне с требованием, чтобы я написал
это. Я отказался наотрез и сказал, что мне, в таком случае, мало писать одну
эту цифру, что я напишу всё, что нужно, у себя в номере, а отвечать на отдельные
вопросы теперь не стану, не хочу. Горянский выразил было какое-то колебание,
но Путилин обратился к нему (обычная уловка) с такими словами:

— Да г. Михайлов напишут. Разве можно в этом сомневаться? Уж если они
раз сказали, то, конечно, напишут.

Вслед за Костомаровым ушел в свой номер и я.

ХV.

Горянский стал томить меня еще чаще своими посещениями. Он уже не пре-
длагал мне вопросов, а сказал, чтобы я написал просто показание. Ты
знаешь уже это показание в его позднейшей форме. Прежде чем оно приняло ее,
оно было вдвое короче. Но я должен был прочесть его Шувалову в черновой
рукописи, и многие подробности явились только вследствие того, что им в пер-
воначальном виде не удовлетволялись и все-таки предложили мне еще не
мало вопросов. Я не помню теперь всего, но укажу кое что. Так,
например, у меня сначала было глухо сказано, что я привез воззвание с собою,
а о происхождении его не говорилось. Это прибавлено. Так точно не упомина-
лось в нем и вашего имени. Но Шувалов и все его клеветы говорили, что я
приехал вместе с вами, и что в Лондоне вы должны были находиться вместе
со мною. Надо было и на это ответить. Вообще, многое, что казалось мне са-
мому потом совершенно излишним (когда мне прочли это показание перед судом),
было вызвано назойливыми вопросами и придирками в III Отделении ¹⁾.

Когда, повидимому, все было удовлетворено, Шувалов, прослушав показание,
сказал мне:

— Вам, конечно, всё это неприятно. Но, согласитесь сами, принявши еди-
ножды это место, не мог же я поступать иначе.

Он сказал мне, что будет стараться и надеется, что меня не более как от-
правят куда нибудь в отдаленную губернию на жительство... Но может, конечно,
случиться, что государь захочет предать меня суду.

¹⁾ „Полным и чистосердечным“, как называет М. И. М.—в свое показание, конечно,
назвать его нельзя, т. к. М.—в всячески выгораживал Шелгуновых, приписав авторство себе. Для
ясности его необходимо сопоставить с воспоминаниями самого Шелгунова („Гол. Мин.“ 1918,
№ 4—6 и „Юбилейный Сборник Литерат. Фонда“. СПб., 1909). Показание М. И. Михайлова
полностью напечатано М. К. Лемке в кн. „Политические процессы“. СПб., 1907, с. 20—25.

Потом прибавил (повторил уверение своей честности), что у него было в руках несколько писем, взятых во время обыска жандармским полковником, но так как мне могло быть неприятно, если они попадут в чужие руки, то он передал их запечатанными вам. Это (как оказалось) было вранье, которым он подерживал вранье Путилина. Писем никаких Житковым не было взято.

Горянский пришел ко мне вскоре, с просьбой указать ему когонибудь из моих знакомых, кто сообщил бы ему о моих прежних литературных занятиях. Это было нужно ему, как он говорил, для будущего доклада государю.

— Я пошел бы к А. Н. Майкову или к Н. А. Некрасову. Я их несколько знаю. Но вы ведь знаете, как на нас смотрят. Скажут: шпион!!

Он особенно выразительно произнес слово ш п и о н словно хотел передать во всей силе то презрение, с каким его обыкновенно произносят.

Горянский, как он говорил мне как то, сам сочинял стихи и чуть ли не носил какую то поэму своего произведения к Некрасову.

Я вызвался лучше сам ему продиктовать, что ему нужно.

Только после этого показания я стал немного покойнее и по ночам перестал метаться без сна. Чтение, однако, все таки плохо развлекало меня, хотя, признав за собою всю вину, я уже перестал тревожиться за спокойствие других. Другая тревога, за себя, была слишком ничтожна в сравнении с тою.

XVI.

Я почти забыл, что письмо Бостомарова сделало меня прикосновенным и к другому делу, по которому следствие производилось особой комиссией. Забыть было и не трудно. Оно было слишком ничтожным для III Отделения сравнительно с тем, что им нужно было узнать, для чего у меня было произведено два обыска, и сам я был арестован. Нет сомнения, что, будь у них в виду только эта прикосновенность моя, и обыск у меня не повторился бы, и меня позвали бы в Следственную комиссию, не арестуя.

Совершенно неожиданно принесли мне раз вечером платье, и смотритель пришел объявить, что я поеду сейчас в Следственную комиссию для отобрания от меня показания.

Я поехал в извозничьей карете, в сопровождении молодого офицера, кажется Федорова, не знаю, какого полка, будущего кандидата в жандармы, прикомандированного с этою целью к Шувалову. На козлы, рядом с кучером, сел вахмистр.

Редко встречал я таких дураков, как этот офицер. Глупость его высказывалась в различных рассуждениях, с которыми он не отставал от меня всю дорогу от Цепного моста по Большой Миллионной и Большой Морской. Не знаю даже, могу ли я назвать этого господина и не вполне испорченным человеком. Он высказывал, что стыдится своего положения, и старался как будто оправдаться в том, что поступил в жандармский штаб с тем, чтобы получить со временем место в провинции, чтонибудь в роде адъютанта при жандармском штаб-офицере.

Он в то же время с какою то завистливою восторженностью говорил о быстрой и блестящей карьере Шувалова и изумил меня не мало, когда вдруг произнес от слова до слова формулярный список шпионского начальника. Он как то упомянул, что был сначала преподавателем истории где то в военно-учебном заведении. В хронологии, действительно, был силен. Он только что не называл мне месяцев и чисел, когда Шувалов был произведен в такой то чин, переведен на такое то место; но года приводил он с точностью хронологической таблицы. Чтобы оправдать свои жандармские стремления он пускался в восхваление гуманности Шувалова и говорил, что все стремления этого добродетельного сановника направлены на то, чтобы «облагодарить» службу по жандармскому ведомству, чтобы люди все служили образованные (при этом, бывший преподаватель истории имел, вероятно, в виду и себя), чтобы уничтожить всякие тайные допросы (мне то это было кстати рассказывать) и предоставить все дела, бывшие прежде исключительною специальностью III Отделения, обыкновенному суду, а самим только наблюдать за чиновниками по всей империи: не брали бы взяток и проч.

Мне любопытнее было узнать что нибудь про городские новости, но он ничего не знал или не хотел говорить, кроме того, что дебютировал в итальянской опере какой то новый певец, да что приехала какая то новая танцовщица. Он выразил мне, кроме того, свое сочувствие к литературе, сказав, что предпочитает всем журналам «Время», и пожалел, что в этом месяце «Современник» запоздал.

Странное чувство не оставляло меня во весь этот недалекий переезд. Окна кареты были опущены, и я с какою то жадностью смотрел по сторонам, всматривался в лица проходивших по освещенным тротуарам Большой Морской, будто хотел узнать в толпе хоть одно знакомое лицо. Мне хотелось в то же время ударить по виску и оглушить этим моего спутника, вмешаться в толпу и вдруг неожиданно явиться у Аларчина моста ¹⁾.

— Нельзя ли нам проехать мимо бывшей моей квартиры—сказал я не умолкавшему жандармскому кандидату. Мне хотелось бы посмотреть хоть на ее окна.

— А где вы жили?

Я сказал.

— Ах, жаль, что не по дороге. Я, знаете, с удовольствием бы, но это в сторону. Как бы чего не вышло. Вон вахтер ведь у нас на козлах.

Я не настаивал.

Первая Адмиралтейская часть находится на Большой Морской, рядом почти со зданием почтамтских карет, откуда я провожал тебя в предпоследнюю нашу поездку за границу. Тут то и собиралась комиссия по делу печатания и распространения московскими студентами запрещенных сочинений, под председательством, как сообщил мне мой проводник, действ. ст. советника Соболевского.

¹⁾ Квартира Михайлова-Шелгунова.

XVII.

Мы въехали во двор, поднялись по довольно узкой лестнице во второй, а может, и в третий (уж не помню) этаж, и я вошел в тускло освещенную, довольно большую комнату, где стоял посредине письменный стол и сидели мои следователи, весело разговаривая и курия. Проводник-офицер остался в комнате рядом между прихожей и той, где производилось следствие.

В числе следователей мне было одно знакомое лицо. Это был Стороженко, которого я раза два или три встречал у Дружинина ¹⁾.

Из остальных я ни с кем не встречался прежде. Броне председателя Собещанского и Стороженко, я узнал имена Фонвизина и Любимова (обер-секретаря Сената). Кажется, это были и все, не считая канцелярских чиновников, сидевших за другими столами ²⁾.

О Комиссии этой, собственно говоря, нечего бы и помянуть; я вписываю только для полноты факт моего визита в первую Адмиралтейскую часть. Следователи (насколько я могу судить по двум сделанным мне вопросам) были все люди порядочные. Им, по крайней мере, не для чего было заранее считать меня преступником, как это было в тайной канцелярии. Мне предложили в оба раза по нескольку вопросов такого рода: зачем были у меня взятые при обыске две книги и портрет? ³⁾ Справедливо ли показание Костомарова, что одна из взятых у него рукописей писана мною? Зачем я передавал их? Я ответил, что одна рукопись действительно переписана мной с дурного списка, где были пропуски, а другая, не помню откуда, попала ко мне, как интересная новость, ходившая, как я слышал, по рукам в рукописи; что передавал я рукописи для прочтения—и только.

Пока изготовляли вопросы, за столом шел общий разговор о других предметах. Я сидел насупротив председателя и принимал в разговоре участие.

Тут я узнал, что студенты по делу типографии все содержатся при полиции, а не в III Отделении; что некоторых они отпускают по домам; что одного, выпущенного, не имевшего при себе ни гроша, приютит в своей квартире Стороженко; что они собираются всею комиссией в Москву для получения сведений на месте.

Оба раза я ездил в Следственную комиссию вечером с тем же глухим офицером и возвращался в свой шестой номер у Цепного моста часов около 9 или 10. Между допросами у меня было дня три промежутка.

¹⁾ Дружинин, Ал.—др Васильевич, известный критик и беллетрист (1824—1864).

²⁾ Личный состав особой Следственной комиссии, учрежденной 30 авг. 1861 г. Валуевым „по делу об издании и распространении злоумышленных сочинений“, был следующий: от министерства внутр. дел—Игн. Фом. Собещанский и А-др Петр. Стороженко, от министерства юстиции—Ал. Сем. Любимов, от управления Моск. ген.-губернатора—Ив. Серг. Фонвизин, дело производитель Незнамов.

³⁾ Взятые у М. И. М.—ва при первом обыске.

XVIII.

Хотя ко мне после того, как я отдал свое показание, стали реже заглядывать шпионские физиономии, но я все-таки не был настолько спокоен, чтобы чемнибудь заниматься в течение дня. Читать давали только старые русские журналы, давно мною читанные. Только под вечер я стал пробовать хоть переводить чтонибудь в стихах из тома «Chamber'a», бывшего у меня.

Несколько тревоги, хотя и много удовольствия, доставила мне весть, принесенная Зарубиным о беспорядках в университете. Хотя он говорил и глухо как то, но я мог понять, что дело не шуточное. Он же сообщил мне потом о множестве арестов и говорил, что арестованы все, кто издавал «Великорусса»¹⁾.

Раз во время обеда пришел Путилин, как я понял, с целью узнать впечатление мое при вести об аресте студентов, именно первом, когда был арестован и Веня. Я спокойно выслушал его рассказ, что студенты «наделали глупостей» в университете, нагрубили начальству, и что многие арестованы и университет закрыт. Вероятно, с тем, чтобы вызвать у меня вопрос, не арестован ли Михаил, Путилин сказал мне:

— Ваши все здоровы, кланяются вам.

Повидимому, он так и ждал, что я спрошу: «а где вы их видели?» и «по какому случаю?». Но в тоне его на этот раз было столько фальши, что я был убежден, что он врет, и не спросил ничего, даже не сказал ни слова.

В этот или в другой раз он сказал мне, что Костомарова очень огорчает, что я на него сержусь за его образ действий и что он просил его, Путилина, передать мне его огорчение.

К этому времени относятся предложенные мне Шуваловым вопросы о Вене, которые я привел выше. В это время он, вероятно, сидел в III Отделении.

XIX.

Горянский, заходя ко мне, говорил обыкновенно, что он является не как чиновник, а как частное лицо, и принимал при этом огорченный вид.

Он предлагал мне в то же время, понижая голос, передать чтонибудь на словах или, пожалуй, письмом моим друзьям. Нашел дурака.

В разговоре у него то и дело проскальзывали фразы, из которых ясно было видно, что ему хочется вывести от меня еще кое что.

¹⁾ По делу об издании и распространении „Великорусса“ были арестованы: В. А. Обручев, П. И. Боков и три студента Петербургского ун-та: Вас. Вас. Лобанов (р. 1842), Федор Ростисл. Дашнеберг (р. 1843) и Мих. Ник. Сваричевский (р. 1840).

Он начал, между прочим, говорить мне, что для доклада государю мне следует изложить дело как можно короче, в форме письма, что всего показания моего государь читать не станет (слишком длинно), и что резолюция на таком письме решит мое дело. Без этого письма, как он утверждал, я не избежну суда, который может кончиться для меня плохо, а главное, — что суд не ограничится мною одним, а постарается притянуть и всех, кто только был со мною в дружеских отношениях.

Какой мог быть назначен суд, я не знал, и мне представлялись те судебные комиссии, которые отличались в царствование Николая Павловича. Я не настолько был убежден в нашем прогрессе, чтобы предполагать невозможной такую комиссию, как напр. по делу Петрашевского. Следствие в Адмиралтейской части не могло успокоить. Я видел очень хорошо, что III Отделение смотрело на дело московских студентов далеко не так серьезно, как на мое.

XX.

Порядок жизни шел, между тем, неизменно в нашем коридоре, и в моем номере нарушение его заключалось только в том, что в окна вставили двойные рамы. Когда в моем номере возился стекольщик с мальчиком, на меня напала особенная злость. Как будто я должен остаться тут на зиму!

Потом раза два случалась необычная возня по корридору, с криком и разтворением железных створов.

— Что это там было такое?—спрашивал я Самохвалова.

— Бровать вносили.

— Какую? зачем?

— Да вот тут в номере. Там одна бровать, так теперь другого туда еще сажают. Другую и койку надо.

— Разве уж места нет?

— Должно быть, что нет, ваше высокоблагородие. А впрочем не знаю.

Раза два—три Самохвалов об'являл мне о том, что ждут Шувалова, что он собирается обойти все номера по случаю скорого возврата князя (Долгорукова) ¹⁾. Самохвалов с особенной тщательностью тер полы мокрой шваброй и потом душил меня дымом каких то благовонных порошков, которыми окуривал коридор и номера.

Но Шувалов так и не был. Он вскоре после моего показания (т. е. после студенческой истории) совсем перестал ездить в III Отделение, где бывал до того ежедневно. Эти сведения сообщал мне Самохвалов, да я и сам мог знать, когда Шувалов тут, когда нет, по его экипажу на дворе. До меня стали доходить слухи, что он болен, что собирается вскоре за границу. Самохвалов говорил,

¹⁾ Долгоруков, кн. Вас. Андреевич (1803—1868), шеф жандармов и главный начальник III Отделения, бывший в 1861 г. в Ливадии вместе с Александром II.

что вместо него назначен Анненков ¹⁾, брат апокалиптического критика; но это не подтвердилось.

XXI.

Взамен ожидаемого Шувалова, ко мне в номер явился неожиданный мною вовсе шпион генеральского чина — Кранц ²⁾, со звездой на фраке. Это был господин уже значительно пожилой, довольно высокий, но немного согнутый, с вьющимися русыми волосами с проседью, лицо круглое, слегка рябоватое, не особенно неприятное, кроме маленьких глаз, которыми он не смотрел прямо и которые как будто хотел скрыть под синими очками.

Я его видал постоянно во фраке со звездой; сапоги были у него без каблучков, и он ступал неслышно, как кошка. Голос мягкий и тихий, впрочем, как у всех в этом шпионском царстве.

Он начал свое знакомство со мной почти теми же словами, как и Горянский: объявил, что очень уважает мой талант, но к этому прибавил, что я сделал непростительную («извините за мое выражение, но я вам говорю от души») ошибку. Ошибка была, видите ли, в том, что я не хотел понять, что государь совершенно одинакового со мной образа мыслей!

По словам Кранца, он был в отсутствии, ездил в свою деревню, только что воротился и лишь вкратце успел познакомиться с моим делом.

Он повторил мне слова Горянского о необходимости письма к государю, чтобы дело было предоставлено административному решению.

Потом он попросил у меня позволения закурить папиросу (он курил тоненькие папиросы, самые легкие, дамские какие то, что было как то некстати в тайной канцелярии), сел и начал меня спрашивать о Герцене: когда я с ним познакомился, когда виделся в последний раз, как он живет и где, большое ли у него знакомство в Лондоне.

Я отвечал общими местами.

— А правда ли, — спросил он, — что Герцен был нынче в Гамбурге и оттуда собирался в Петербург?

— Вам это лучше знать, — отвечал я, — а я ничего подобного не слышал.

XXII.

Не помню, в тот ли же день или на другой, только что то вскоре после первого визита этого почтенного старца, ко мне пришел Горянский и тоже (чего прежде с ним не бывало) начал спрашивать меня о Герцене.

¹⁾ Анненков, Иван Васильевич (1814—1887), начальник 1 округа корпуса жандармов, в 1862 г. — петербургский обер-полицеймейстер. — Брат его Павел Вас. Анненков (1813—1887), известный пушкинист, мемуарист и критик. Трудно сказать, почему Михайлов называет его „апокалиптическим критиком“. Может быть в рукописи было „аполексический“, так как П. В. Анненков отличался своею полнотою.

²⁾ Кранц Фердинанд Фердин. (р. ок. 1813), в 1845 г. причислен в качестве чиновника особых поручений к III Отделению, потом — старший чиновник, управляющий, I (политич.) экспедицией. † после 1874 г.

Он только что вошел ко мне, как сказал:

— Знаете, какие нелепые слухи распространились о вас по городу, г. Михайлов? Рассказывают, что вас здесь в III Отделении отравили. Ну, есть ли в этом смысл? Кажется, кроме уважения, вам здесь ничего не оказывается.

Затем Горянский, разумеется, сказал, что он пришел побеседовать со мною, как человек, а не как чиновник, и почти ех abrupto перешел к вопросам, очень интересовавшим его, как человека, а не как чиновника, именно о частной жизни Герцена. На большую часть вопросов я ему отвечал, что он может это узнать из «К о л о к о л а» (например о квартире), или же из «Б ы л о г о и Д у м».

Затем на некоторые я отзывался незнанием, а на другие отвечал явную дичь, которую Горянский тем не менее благоговейно принимал к сведению. В вопросах этих не было ничего любопытного. Это были все большей частью справки о том, хорошо ли, т. е. богато ли Герцен живет, много ли он получает от своих изданий, большой ли у него круг знакомых, бывает ли он в таких домах, например, у важных членов парламента, где бывает и наше посольство, и т. п.

Наконец, он спросил:

— А русские газеты он получает?

— Как же.

— А есть у него портреты русских когонибудь?

— Есть.

— Коллекция?

— Да, и довольно большая.

Мне казалось, он имеет в виду известное, очень распространенное сведение о том, что у Герцена есть портреты шпионов, находящихся на посылках у тайной канцелярии.

— А есть у него любовница? — спросил, наконец, Горянский.

Я уж тут не мог удержаться от смеха. Он, должно быть, понял всю неловкость своего вопроса после того известия, которым начал разговор со мною, пробормотал что то о том, что он интересовался всем этим лично, как человек, а не как чиновник, и поспешил удалиться.

XXIII.

Бранц приходил ко мне еще раза три.

Раз он принес показание мое и говорил, что оно неудовлетворительно.

— Чем же?

— Вы не одни распространяли воззвание—это раз. Потом вы не показали, кому вы передали остальные экземпляры. Вы привезли их больше.

— К тому, что мною написано, — отвечал я, — я не имею ничего прибавить.

— Скажите лучше, не хотите.

— Не имею.

— Я не буду настаивать, — сказал он, — но вам не избежать ответа на эти вопросы.

— Вы знаете мой ответ.

Потом он принес мне два или три конверта, в которых была разослана прокламация, и сказал, показывая их.

— Это не вы писали?

— Нет, я.

— Это не ваша рука.

— Я изменил свой почерк.

— Это женская рука.

— Может быть, и похоже на женский почерк, а писал то все-таки я.

— И это?

— И это я,

Кранц ушел.

Это было уже в конце месяца после моего ареста.

XXIV.

Ровно через месяц, именно 14 октября, Кранц пришел ко мне по утрам, говоря, что я, желая, чтобы мое дело кончилось административно и в него не были впутаны другие, должен написать короткое письмо к государю, и что это надо сделать сегодня же, потому что приезда его ждут с часу на час.

Как ни возмущалось всё во мне против этого, но суд страшил меня тем, что к нему будет призван и Костомаров, и его ответы запутают деда и бросят тень подозрения на кого вибуть, кроме меня. Я после увидел, что в праве был этого бояться, если бы Костомарова III Отделение не выгородило из суда.

Я постарался написать покороче, с строгим соблюдением казенных форм, и только подтвердил в нем те мотивы, которыми оправдывал распространение прокламации и в показании ¹⁾).

В три часа старец со звездой зашел ко мне опять, сказал, что он сейчас едет к Шувалову, взял мое письмо в карман и тотчас ушел.

Не прошло и получаса, как ко мне явился Горянский с похоронно-вытянутым лицом и, вздыхая, сказал мне, что принес мне неприятную весть.

— Что такое?

— Сию минуту пришло высочайшее повеление о предании вас суду (Потом я узнал, что оно пришло накануне, или даже за день) ²⁾).

¹⁾ Письмо на имя Александра II приведено полностью ниже с. 75—76, прим.

²⁾ Уже 7 октября гр. Шувалов телеграммой известил кн. Долгорукова, что Совет, учрежденный на время отсутствия Александра II из Петербурга, положил: «просить разрешение немедленно предать Михайлова уголовному суду», что весьма желательно в опровержение слухов, «что Михайлов у нас отравлен и похоронен без вскрытия». 9 октября уже последовало разрешение: «предать М-ва уголовному суду, возложив на министра юстиции самое скорейшее производство дела, так как преступление выходит из ряда обыкновенных».

— Как же письмо то?

— Мы уже отправили его; но повеление пришло по телеграфу сейчас. Меня злость взяла.

Тут только я слишком поздно догадался, что вся эта махинация была подведена, чтобы я не мог отказаться перед судом от моего показания.

Письмо считалось актом полного сознания, и отречься теперь от показания значило бы удвоить свою виновность. Я хотел сделать перед судом другое, именно объяснить причины написания этого письма. Ты знаешь, отчего я этого не сделал.

— Вы сегодня переедете от нас в крепость,—дополнил свое известие Горянский.—Вот как смеркнется. Мы употребляли все старания,—продолжал он,—чтобы дело обошлось тише и не так ужасно для вас, как оно, вероятно, кончится; но в городе было слишком много толков и неудовольствия. Литераторы подавали адрес об освобождении вас из под ареста ¹⁾. На нас идут такие нарекания! А вот вы сами видели, есть ли на что жаловаться. Выдумывают про III Отделение Бог знает что! Будто здесь есть какие то опускные полы, что секут у нас. Покамест я не служил здесь, я сам всему этому верил. Но это такой вздор!... В крепость свезет вас смотритель. Мы отпустим с вами ваши книги, бумагу возьмите, карандаши. Вам все это позволят. Мы уж распорядились... Прощайте-с! Не браните нас. Такое уж наше собственное положение.

Горянский застал меня за обедом. Понятно, что его известие отшибло у меня всякую охоту есть. Я сказал по уходе его Самохвалову, чтобы он убрал со стола и взамен обеда дал мне чаю.

Когда я сказал ему, что переезжаю в крепость, он всплеснул руками.

— Ах жаль, ваше высококородие! жаль!—Ну да что ни Бог, ваше высококородие, может и опять вернетесь сюда; а там и выпустят.

После чаю пришел ко мне гусар с флюсом и с прошнурованной книгой, чтобы я расписался в обратном получении своих вещей, которые и были все принесены вахтером. Потом пришел и Зарубин, когда я был совсем одет. Кошелек с деньгами передал гусар ему, так что я не мог и на водку дать Самохвалову. Зарубин на это не согласился.

Вахтер пришел сказать, что карета готова. Совсем уж стемнело. Было часов семь.

Я в последний раз прошел по нашему освещенному газом коридору и спустился с лестницы. Мой чемодан, книги, сверток бумаги лежали уже в карете. Вахтер сел на козлы и скормандовал кучеру:

¹⁾ 15 сент. 1861 г. тридцать петербургских литераторов обратились к министру нар. просв. с просьбой „испросить освобождение г. Михайлова, а если это невозможно, то, по крайней мере, исходатайствовать дозволение назначить к нему в помощь, по нашему избранию, депутата для охранения его гражданских прав во все время судебного-полицейского исследования поступков, в которых он обвиняется“. Аналогичное заявление подали 16 сент. десять редакторов „Энцикл. Словаря“, в котором работал М. И. Михайлов, во главе с главным редактором П. Л. Лавровым. Оба заявления напечатаны в „Поли. собр. сочинений Герцена“ т. XI, с. 263—264, 264—265.

— В крепость!

Вечер был холодный, и мне зяблось, после чаю и теплого № 6-го, в моем пальто. Зарубин сидел около меня уже в шубе.

Но дорога была не долга. Мы скоро миновали Летний сад и поехали по мосту.

Как теперь помню, именно на мосту спросил я Зарубина, открыли ли, наконец, университет и выпущены ли из под ареста студенты.

— Где же так скоро их разобрать!—возразил он.

— Да их сколько взято?

— Легко сказать! ведь больше 300 ¹⁾.

Он, однако же не хотел мне об'яснить дело подробно, и отделывался все общими фразами.

Наконец, мы в'ехали в ворота крепости.

Мы остановились перед комендантским под'ездом, где я потом прощался с тобой. В сенях, налево от входа, ты помнишь, может быть, небольшую дверь. За этой дверью помещается канцелярия, и туда вошел я с капитаном.

III.

В Петропавловской крепости.

В первой комнате, куда мы вошли, было очень яркое освещение. Она была очень невелика, но в ней горело, по меньшей мере, восемь свечей. При свете их на трех или четырех небольших столах производился скрип перьев дюжиною военных писарей. Насколько я мог судить по взгляду мелком на их работу, они составляли какие то списки. Бумага была разграфлена. Это были, вероятно, списки арестованных студентов.

В дальнейшей комнате, еще меньшего размера, стоял только один стол, и из за него встал нам на встречу небольшого роста человек, с конусообразной белокурой головой и полицейски-любезным выражением лица. Он был в сюртуке с красным воротником и опять таки со Станиславом на шее.

— Что это?—воскликнул он, подавая руку Зарубину,—долго ли вы еще будете возить? Куда я помещать то стану? Тоже из студентов?—спросил он, обращаясь отчасти как будто и ко мне.

— Нет-с, господин Михайлов, сочинитель. Уж вы, пожалуйста, отведите номер получше.

— И рад бы, да нету.

— Вот и вещи их тут.

— Не угодно ли садиться.

Я сел у стола и взял номер «Русского Инвалида», лежавший тут.

¹⁾ 12 октября 1861 г., на другой день после открытия Петербургского ун-та, во время свалки перед университетом студентов с полицией и солдатами было арестовано 243 человека, одна часть которых была помещена в Петропавловской крепости, а другая в Кронштадте.

Чиновник с красным воротником (делопроизводитель канцелярии и—как узнал, я потом—правая рука тайной канцелярии в крепости) вызвал Зарубина в другую комнату, пошептался там с ним, потом сказал громко, что пойдет доложить коменданту.

Я прочитал, между тем, в «Инвалиде» не мало удививший меня приказ ко военному ведомству о предании суду и аресте Семевского, Энгельгарта и Штрاندена за участие в беспорядках, произведенных студентами ¹⁾.

Когда Зарубин воротился к столу, у которого я сидел, я спросил его, что значит это, и разве не одни студенты были виновниками беспорядков.

Капитан присел на место делопроизводителя и, наклоняясь ко мне, произнес.

— Да ведь там целый бунт был. Войско надо было вывести. С окровенением дело то было, с окровенением.

Больше он, однако ж, ничего не рассказывал.

Делопроизводитель, воротясь, сказал, что комендант не совсем зторов, и меня к нему водить не нужно. Он расписался в книжке, привезенной Зарубиным, что получил в целости как меня, так и вещи мои, и когда тот удалился, он пригласил меня идти с ним, а сам распорядился, чтобы слѣдом принесли и вещи.

Мы пошли только вдвоем.

Всю дорогу от комендантской квартиры до куртины, где меня заключили, он болтал без умолку: извинялся, что теперь у них нет помещения лучше—все битком набито; говорил, что кое-какие улучшения сделаны в содержании, что дают теперь утром и вечером чай, чего прежде не было, что с 1-го ноября и в ночниках будет гореть деревянное масло.

— Нельзя же в наше время,—заключил он,—держаться старых порядков.

Мы поднялись по темной лестнице в длинный каменный коридор, который тускло освещался висевшим со свода фонарем. Жалкая светильня еле мерцала, как в уличных фонарях самых далеких и глухих петербургских захолустьев. По коридору медленно шагали или стояли в полумраке солдаты с ружьями. Часовой у входной двери, едва ступили мы в коридор, громко крикнул:

— Старшего!

Возглас этот пронесся до самого конца коридора, и скоро навстречу нам шел, гремя ключами, с оплывшей сальной свечей в руке, унтер-офицер в каске, в шинели и при тесаке.

— Отвори восьмой номер, да где плац-адъютант?

— Они в баню ушли.

— Ну, хорошо. Отвори.

Я не припомню только хорошенько—восьмой ли это был номер или шестой. Знаю, что он был крайний направо по коридору.

¹⁾ Артиллерийские офицеры: поручик Семевский и прапорщик Штранден были арестованы 12 окт. 1861 г. во время одной из студенческих демонстраций, как принимавшие в ней деятельное участие; за то же был арестован 27 сент. поручик Энгельгарт. Об участии артиллерийских офицеров в студенческом движении 1861 г. см. в воспоминаниях Н. В. Шелгунова а—„Юбил. Сборн. Литер. Фонда“. СПб., 1909, с. 404—405.

Отворили тяжелую дверь, и на меня пахло еще худшим, сырым и затхлым воздухом, чем какой был в коридоре. Не было тут только масляной копоти и чада, как там.

Я очутился под совершенно круглым, от самого пола идущим сводом, но в номере, настолько просторном, что в нем помещалось шесть кроватей. Два полу-круглых и довольно больших окна, покрашенных снаружи, с мелким переплетом, белели в глубоких темных амбразурах, будто занесенные снегом. Стены были закоптевшие, с приметами сырости; со свода висела бахромой паутина.

— Это у нас было больничное отделение,—заметил смотритель:—да больше теперь решительно нигде места нет. Если они привезут еще когонибудь, поместить будет некуда... Эй! — крикнул он ефрейтору, — клирни людей. Вынести отсюда лишние койки.

Пришло несколько солдат, и вынесли.

Смотритель взял свечу и поднял ее у себя над головой, рассматривая потолок.

— Эй! Паутину обмести... Возьми метлу ктонибудь! Обмети паутину.

Две метлы зашаркали по своду. Паутина, белела, пыль летели нам в изобилии на голову.

— Ночник подай!

Старый, сторбленный сторож, инвалид, в каком то рубище, не напоминавшем его военного звания, принес жировой ночник, от толстой светильни которого подымалась толстой черной струей копоть.

Я спросил, нельзя ли получить свечу.

— Я думаю, можно будет, конечно, на ваши собственные деньги,—отвечал смотритель.—Вот как плац-адъютант воротится из бани, вы ему скажите. Покаместь вы останетесь в своей одежде. Он уж там всем распорядится. Он скоро. До свидания-с покамест.

— Курить то у вас позволяется?

— Разумеется-с; сколько угодно.

И он ушел. Дверь затворилась, ключ тяжело повернулся в замке, и я остался один в моем новоселье.

Деревянная койка стояла в довольно широком простенке между окнами, изголовьем к стене, впрочем, не близко. И в тайной канцелярии постель не отличалась опрятностью и удобством, а уж здесь и подавно. Парусинный мешок скудно набитый соломой, был прикрыт грязною простынею; подушка была тяжелая, из нее торчали острыми концами перья и летели во все стороны, только что прикоснешься. Наволочка, сшитая, очевидно, на подушку вдвое больше, была чистотою подстать простыне. Впрочем, подушки было две, но нижняя соломенная. Одеяло из толстого солдатского серого сукна было (вероятно, и год тому назад) подшито толстой холстиной.

Около изголовья направо стоял небольшой столик без столешника. На нем помещалась оловянная кружка с крышкой, для воды. Около стола стоял стул с глухим деревянным ситеньем.

Больше ничего не было в номере.

Тут было не холодно, но я скоро почувствовал сырость. Только краешек железной печки, топившейся из коридора, выходил сюда.

Как ни противна была мне эта неопрятная постель, но надо было примириться с нею. Я ведь не знал, как долго придется мне спать на ней. Как ни пасмурна и печальна была окружающая меня теперь обстановка, даже в сравнении с казематом тайной канцелярии, у меня было как то легче на душе. Сознание, что я перестану видеть перед собою шпионские физиономии, снимало как будто какую то ненавистную тяжесть с моего мозга. Вообще, я рад был своему темному своду, как перемене к лучшему.

Я промерял раз пятьдесят мой номер из угла в угол, иногда по забывчивости утыкаясь лбом в свод, потом прилег на постель.

Ночник безпрестанно нагорал, и, когда я ленился встать, чтобы поправить светильню принесенными для этой цели лучинками (ночник стоял на окне), по своду слабым сиянием ложился свет коридорного фонаря, сквозь стеклянную раму над дверью. Отражение рамы протягивалось веером по своду, и чем больше мерк мой ночник, тем ближе тянулись эти радиусы слабого света к моей постели.

Когда я лежал таким образом, поджидая плац-ад'ютанта, у меня всё звенели почему то слова Зарубина: «с окровенением»,—и в этот первый вечер в крепости сложились у меня в голове известные тебе стихи с этим припевом. Они, может быть, и плохи, но я ими в тот вечер был очень доволен.

Прошло, вероятно, более полутора часа прежде, чем опять раздался окрик: «Старшего!»—загремели ключи, и ко мне вошел в шинели с меховым воротником толстый плац-ад'ютант с большими черными усами и с выпуклым лбом, старательно прикрытым редкими черными волосами.

— Вы студент-с? — спросил он меня, отрекомендовавшись и пожавши мне руку.

— Нет.

Я назвал свою фамилию.

— А! вы сочинитель! Эго, верно, по прокламации?

— Да.

— Это всё пустяки.

Он говорил с такою уверенностью, как будто сам он должен был произносить нао мною суд.

— Вас скоро выпустят.

Старший принес, между тем, арестантскую одежду.

В числе улучшений в крепости делопроизводитель, провожая меня в куртину, упоминал, между прочим, о том, что они (он говорил мы) выхлопотали, чтобы белье было погоньше — кадетское. Рубашка и всё прочее, принесенное мне, было ужасно сыро, почти мокро, и я могь только надеяться, что согреюсь в шинели из серого солдатского сукна, которая заменила мне здесь больничный халат тайной канцелярии.

Я переоделся, а свою одежду, переписал карандашом на бумаге. Старший связал ее веревкой, употребив вместо заправки мое пальто, и унес. Книги плац-

ад'ютант у меня оставил, но бумагу и карандаш взял для спроса о том коменданта. Свечу обещал мне доставить завтра, а пока обойтись ночником. Часы тоже взял.

Впрочем, они были и не нужны. Куранты на соборе разыгрывали то и дело разные коленца, не считая уже «Воль славен наш Господь в Сионе» и «Боже, царя храни». Последний кант особенно здесь кстати. Так как его никто, конечно, не может повторить сознательно под этими сводами, то лучше всего было предоставить это занятие бессознательным медным языкам колокольных.

— А что, уживаться еще не давали?—спросил плац-ад'ютант.

— Никак нет-с,—отвечал старший.—Сейчас подадут.

— Давай!

В дверь вошла целая процессия в роде той, которая выходит из царских врат, вынося разные ложечки и плошечки и поминая Анну Павловну, королеву нидерландскую. Только блеску, разумеется, того не было. Это ведь были просто солдаты, несшие арестанту ужинать.

Один принес глиняную пустую кружку и налил ее, поставив на стол, чаем из черного от копоти большого медного чайника; другой, с корзинкой в руках, вынул из нее и положил на стол белую булку, два куска сахара и два ломтя черного хлеба; третий принес оловянную чашку с куском жареной говядины и соленым огурцом; четвертый — солонку. Этот уже вполне уподоблялся тому огромному попу, который выносит какую то жалкую вилочку и на долю которого, именно, приходится помянуть королеву нидерландскую Анну Павловну. Да, еще одного забыл, переменившего воду в оловянной кружке.

Поставивши передо мною эту трапезу, солдаты разошлись, а вслед за ними ушел и плац-ад'ютант, пожелав мне спокойной ночи. Меня заперли до следующего утра.

В первый раз после моего ареста я почувствовал действительно аппетит, а тут, как нарочно, еда была самая непривлекательная. Я перенес ночник с окна на стол и при его тусклом освещении принялся за говядину. Она была жестка, и, как водится, не разрезана, но я уже в III Отделении успел немного привыкнуть есть, как едят звери в зверинцах. С трудом отрывая зубами волокна жесткого жареного мяса и купая руки в масле, я уничтожил его все, добрался потом до трех картофелин, с'ел и огурец, сам удивляясь своему аппетиту. Так сильно, однакож, было во мне довольство, что я уже не в III Отделении, что я не ограничился одною говядиною, но с'ел и весь черный хлеб, и белую булку, поданную к чаю.

Чай—надо правду сказать—подавался мало похожий на чай. Это была какая то трава без запаха и без вкуса. Но к чему нельзя привыкнуть? Привык и я к нему.

После этого ужина я почувствовал себя, отчасти, как дома, в крепости. Спать еще было рано, и я уложил на окне в порядке свои книги. Еще в первый раз, по выезде из дому, у меня оказывалось их такое большое количество. Как я уже сказал прежде, в III Отделении мне сразу их не давали, вероятно, чтобы не баловать слишком.

Спал я в своем печальном новоселье тоже лучше, чем в тайной канцелярии; но, к несчастью, мне пришлось раза три пробуждаться от самого сладкого сна.

Часовой, ходивший мерными шагами по корридору, частенько приподнимал железный ставень над оконцем моей двери и, заметив, что ночник у меня гаснет, стучал в стекло оконца и кричал, приложившись к нему лицом:

— Ночник!

Я просыпался, вскакивал, надевал на босую ногу башмаки, подходил к окну и поправлял лучинкой толстую обгоревшую грибом свечильню.

Поставить же ночник на стол, поближе к себе, чтобы не подыматься с постели поправлять его, я не решался. Он слишком уж коптел.

В эти промежутки между сном меня поражал более всего—это я замечал во все пребывание свое в крепости—тяжелый храп спавших в коридоре солдат, чередовавшийся с бредом и порой с провозительными криками, так что часовой начинал обыкновенно будить спящего, чтобы избавить его, вероятно, от мучительной грезы.

При воспоминании о крепостном моем заключении всего живее представляются мне именно тамошние ночи. Ночь длилась особенно долго, потому что рассвет под моими сводами начинался поздно, этак в исходе десятого, а в три, и даже в половине третьего днем нельзя уже было даже близко к окну читать. И эти четыре-пять часов света нельзя назвать днем. Ложась на койку при наибольшем свете, читать было уже невозможно. Только у окна еще не совсем утомлялись глаза.

Ночник, данный мне в первую ночь, был еще из лучших, пока с первого ноября (как объявлял мне делопроизводитель) не стали жечь деревянного масла. А то приносилась плошка, вонявшая на весь номер и коптившая так, что на утро тяжело было поднять с подушки голёву, и копоть была не только в носу, но и в горле. Чтобы избежать этой неприятности, я стал зажигать на всю ночь стеариновую свечу, а ночник гасил. Но это было не долго. Мне объявили, что комендант отдал приказание, чтобы везде в десять часов гасились свечи и зажигались ночники. Поводом было, как объяснил плац-адютант, что студенты засиживаются при свечах долго. Таким образом, я не избег ни ночника в стакане на окне, ни вонючей плошки в углу на полу, ни неожиданного постукивания часового в стеклышко двери с окриком:

— Ночник!

Точно также северно горел фонарь в коридоре. Это я лучше всего мог следить по отражению над дверной рамой на моем своде. Иногда, и при потухающем, нагоревшем ночнике у меня, мерцание на потолке слабело и, наконец, совсем исчезало. Тогда часовой будил сторожа, и я слышал скрип блока и звон опускаемого на нем фонаря. Светлый веер на потолке, впрочем, недолго оставался светлым. Иногда меня будил часовой и непроизвольно. Не раз, вероятно, задремавши, он ронял ружье на пол, и бряк его раздавался громко по безмолвному коридору. Слабая полоска света ложилась на косяк одного из окон от фонаря, прибитого снаружи стены. В ночной тишине звон крепостных часов с их патриотической музыкой раздавался громче. Номер на ночь холодел, и в нем больше чувствовалась

сырость. Печку, правда, топили два раза, утром и вечером, но она была слишком мала, чтобы нагревать мою тюрьму. К утру она совсем остывала, и мне только-только сносно было под одеялом и сверх него под толстой шинелью.

Я поднимался с постели довольно рано, обыкновенно часа за два до света, и взамен ночника зажигал свечу. Большею частью мне приходилось ждать, пока совсем разсветет, чтобы умыться. Часов около десяти, а иногда и позже, слышался оклик: «старшего», и я знал уже, что это идет плац-адъютант.

Ключи гремели, и ко мне, можно сказать, вламывался чуть не десяток солдат—под предводительством дежурного ефрейтора—каждый с чем нибудь в руках. Вслед за ними входил плац-адъютант; впрочем, иногда входил и один только ефрейтор. Вся эта многочисленная военная прислуга, как будто, торопилась делать дело и выказывала при этом такую косолапость, какой я, по правде, вовсе и не ожидал от русского солдата, проходящего такую длинную и тяжелую школу всевозможных выправок. Старик-сторож кидался стремглав сначала к ночнику, потом к кружке с водой, потом к ящику с глухою крышкою в углу номера, что нужно—мыл, что нужно—выносил; двое принимались скрести метлами по сухому полу или же (это бывало, кажется, через день) поливать его и пускать в ход швабры. Приносился стул, таз, и один из солдат подавал мне умыться из кружки. Кроме того являлись, как и вечером, хлебодары и чаечерпни со всеми принадлежностями. Утром только чай давали без всякого иного завтрака, кроме булки. Один из ефрейторов, бойкий грамотный малый, о котором я скажу подробнее потом, особенно заботился о воздухе в моем номере. Воздух был, действительно, ужасен: сырость и затхлость поражали при входе; после посещения этого десятка солдат оставался при том запах сапожной кожи, чад от ночника, вонь от коридорного фонаря, запах грязной воли от сырого пола,—все это сгущалось так, что запах табаку (а я курил довольно) совершенно пропадал и оставался только дым. Крестчатая форточка в одном окне совсем не освежала, а иногда в нее еще валил новый запах и чад кухонный, вероятно, из подвального этажа. Заботливый ефрейтор кропил стены и пол ждановской жидкостью и курил на раскаленном кирпиче квасом, и только это немного и не надолго улучшало воздух.

Умывшись и напившись чаю, я оставался опять один до обеда, если не заходил ко мне комендант или плац-майор. Их посещения, конечно, не имели ничего похожего на те визиты, от которых я изнывал в тайной канцелярии. Комендант Сорокин, сухой военный формалист, заходил лишь изредка и ограничивался краткими вопросами о моем здоровье, о том, всем ли я доволен, и проч. Напротив, посещения доброго и любезного плац-майора доставляли мне удовольствие ¹⁾.

Часов около двух приносили мне обед, который вовсе не возбуждал во мне желания прикасаться к нему, если это не были щи, да гречневая каша. К сожалению, эти простые блюда подавались редко; считалось почему то нужным разнообразить обед и придавать ему отчасти «дворянский» характер. Ведь крепость не просто острог. Поэтому давали еще, например, и макароны, или суп и говья-

¹⁾ Плац-майор Кандауров.

дину с соусом из брюквы, или суп и говядина с картофелем. Всегда два кушавья, и только раза два-три прибавлялся к этому пирог с кашей. Для обеда на арестанта было ассигновано не более одиннадцати копеек в сутки. На такие деньги при петербургской дороговизне не очень то разгуляешься, особенно, когда в этот же счет кладется и поддержка ночников. Не удивительно, поэтому, что суп обыкновенно не представлял никакого отличия от грязной горячей воды, что говядина была похожа — по выражению Хлестакова — на топор, что масло было горькое и проч. Искусство крепостного повара особенно проявлялось в приготовлении макарон. Они подавались в виде какой то плотной массы, которую нужно было резать, чтобы есть. Но у меня, как я уже сказал, не было не только ножа или вилки, но и ложки, чтобы размешивать чай. Один из ефрейторов, видя, что я мешаю чай одним из концов лучинки, другим концом которой поправляю свечильню ночника, принес мне без всякого намека даже с моей стороны две лучинки, обструганные одна в виде лопатки, а другая в виде вилки. Последнюю я сломал, а лучинка-ложечка у тебя.

Дня через два мне так опротивел крепостной обед, что я принялся бы, конечно, довольствоваться одним чаем, если-б...¹⁾

Вскоре после переселения моего в крепость, именно дня через четыре меня потребовали в суд, в Сенат. За мною пришел городской плац-адъютант Панкратьев. О суде я буду говорить дальше особо, а теперь упоминаю, кстати, по случаю обеда.

Броме книг, бывших со мной, я стал получать здесь журналы и только тут начал вполне понимать, что читаю.

Почти все время и до обеда, и после обеда, и вечером я читал. Писать у меня как-то не было охоты, — да притом комендант выдал мне всего один лист бумаги.

Часто после обеда я спал, потому что засиживался вечером слишком долго и вставал поутру слишком рано.

Вечером я с каким то особенным нетерпением, почти с жадностью, ожидал чая и ужина. После скудного обеда меня обыкновенно уж часов в пять начинал пронимать голод.

За ужином следовала такая же ночь, какую я уже описал.

Вот как тянулся день за днем, без всякого разнообразия.

Особенно памяты остались мне только мои поездки в Сенат, приезд Суворова²⁾, о назначении которого генерал-губернатором я еще не знал, — и потому думал, что это Игнатьев ко мне приехал. В первый визит свой он пробыл у меня очень недолго и сделал только несколько самых обыкновенных вопросов: какое мое дело? откуда я? не желаю ли чегонибудь? доволен ли содержанием? и т. под.

Потом осталось у меня в памяти утро 6-го ноября, в которое, по случаю царских каких то крестин, палили в крепости из пушек.

¹⁾ Пропуск в обоих изданиях „Записок“ М-ва.

²⁾ Суворов Александр Аркадьевич, князь Италийский (1804—1882) с 18 окт. 1861 г. сменил по должности петерб. военного генерал-губернатора графа Павла Никол. Игнатьева (1797—1879), занимавшего этот пост с 1854 г. Гуманное и доброжелательное отношение Суворова вызвали к нему большую симпатию среди общественных деятелей 60-х гг., о чем говорят многие записки современников: ср., напр., отношения к нему Чернышевского и Лаврова.

Грусть часто таки нападала на меня все это время, хотя я всячески старался побороть ее или чтением, или, по крайней мере, не выказывать пред тем, кто меня видел.

Особенная горечь на сердце помню—была у меня в тот день, как выпал первый снег. Я отворил крохотную форточку свою и увидел, что комендантский сад с его голыми деревьями (только этот сад, да окружающий его серый забор и видно было в эту форточку) побелел. Помню, мне живо представилась печальная и дальняя дорога, которой я, действительно, и не миновал. В унылом саду, расположенном перед окнами моей тюрьмы, я видел раза два только прогуливавшихся там студентов, по меня им нельзя было видеть. Раз я встретил их также во дворе, отпросившись у коменданта погулять и хоть немного освежиться. Они шли, кажется, из бани, и я мог раскланяться с Залесским, ¹⁾ в енотовой шубе и летней шляпе с широкими полями. В прогулке этой (снегу тогда еще не было, кажется) меня сопровождал плац-ад'ютант. Я вышел с ним за ворота крепости и посмотрел—это было в последний раз—на угрюмый и серый Петербург, на мерзную Неву, на сердито-нахмуренный вдалеке Зимний дворец...

IV

Суд в Сенате.

Я не сидел, кажется, еще и пяти дней в крепости ²⁾, как плац-ад'ютант, войдя ко мне по утру, вскоре после чая, сообщил мне, что меня требуют в Сенат. Я оделся в свое платье, и в мой номер вскоре пришел, вместе с крепостным плац-ад'ютантом—плац-ад'ютант городской, Панкратьев. Мне подали было обед (это было уже часов около двенадцати), чтобы я поехал не на тощий желудок, но я предпочел пообедать потом, по возвращении и велел пока все убрать. Мы вышли из куртины и прошли к дому, где помещается—если не ошибаюсь—крепостной плац-майор. Против под'езда этого дома стояла извозицья четвероместная карета. Я думал сначала, что мы поедем только вдвоем, но Панкратьев сказал мне, что будут еще два провожатых «архангела». С под'езда, действительно, сошли два жандарма. Они молча поместились в карете насупротив нас, задернули тафтяные занавески на окнах двери, и мы поехали.

Мост был еще не разведен, и дорога шла по Дворцовой набережной; тут, отогнув немного занавеску с своей стороны, я заметил огромный с'езд у Государственного Совета. Но вот мы проехали и площадь, в'ехали под арку Сената, и тут повернули в первые ворота направо. И перед воротами, и во дворе была

¹⁾ Залесский, Александр, студент Петербургского ун—та, арестованный в ночь на 26 сентября 1861 г.

²⁾ I Отделение V департамента Сената в составе: первоприсутствующего Г. П. Мигусова и сенаторов: Н. М. Карнеева, К. Б. фон-Венцеля, А. П. Бутурлина, А. А. Волоцкого, М. М. Карпюшина-Пинского, обер-прокурора Н. А. Буцковского и обер-секретаря Кузнецова имело первое свое собрание 17 октября и 18 октября вытребовало М. И. М-ва из крепости.

толпа народу, так что карета едва подвигалась. Панкратьев не знал, кажется, где остановиться, и мы проехали почти в глубь двора, где стояло порядочное количество экипажей. Панкратьев вышел из кареты и побежал справиться. В это время два-три кучера, привезшие, должно быть, сенаторов, указывали на меня в отворенную дверь кареты и, вероятно, острили надо мной, потому что разражались самым веселым хохотом. Жандармскому унтер-офицеру это не понравилось, кажется, и он притворил дверь.

Нам пришлось вернуться к подъезду у самых ворот, опять в толпу, которую я никак не приписывал своему приезду¹⁾. Я предполагал, что по обилию дел в Сенате здесь всегда такая толпа.

Жандармы вышли из кареты первые, выхватили из ножен свои палаши и стали по бокам выхода из кареты. Я пошел, с ними по сторонам и с Панкратьевым, по лестнице, тоже переполненной народом.

Секретарская комната перед присутствием V департамента (где я должен был подождать) очень не велика²⁾. Тут первое лицо, обратившее на себя мое внимание, был священник, сидевший в уголке и державший завернутые в епитрахиль крест и евангелие. Я сел поближе к столу секретаря. В комнату наведывались разные господа, и сенаторы в мундирах, и чиновники помельче. Обер-секретарь Кузнецов с толстым, корявым и тупым лицом, затянутый в мундир, выходил от времени до времени из присутствия и справлялся, кажется, готовы ли вопросные для меня пункты. Мне пришлось, впрочем, ждать очень не долго, не более четверти часа.

Кузнецов опять вышел и, как то минуя меня своим тупым взглядом, сказал: — Пожалуйте.

Я вошел.

За длинным столом, покрытым красным сукном и украшенным зеркалом, сидело пять сенаторов в своих позлащенных одеждах. По неподвижной важности лиц и поз они показались мне очень похожими на позолоченных бурханов.

Особенно выдавались из них двое: Карниолин-Пинский, своею умною, но злобно хитрою физиономиею, с длинными, беспорядочно торчавшими на голове волосами, да еще Бутурлин; но этот, напротив, обличал лицом своим тупость и что то закоснелое солдатское; у него была крашеная голова и крашенные усы на одутловатом дряблом лице, глаза смотрели довольно свирепо. Низенький старичек Карнеев имел вид крайне добродушный—вот и все, что можно сказать

В своих воспоминаниях Н. В. Шелгунов (Юбилейный сборник Литерат. Фонда. СПб., 1909, с. 415) говорит, что суд над М. И. М—вым, «как первый общественный суд по политическому преступлению и над человеком известным, и в пору общего возбуждения, когда волновали общество еще и университетские история, не мог не повышать впечатлительности и без того уже наэлектризованного общества. Волновалась, конечно, больше всего молодежь. В день суда у ворот Галерной, в самых воротах и на задней лестнице Сената в этих воротах, стояла толпа молодежи и не молодежи, ожидая, когда привезут М—ва, и расходилась только тогда, когда М—ва опять увозили в крепость».

²⁾ В настоящее время в помещении, где происходил суд над М—вым, находится Историко-Революционный Архив.

про него. Венцель обратил на себя мое внимание особенно неподвижностью и прямою своей посадкой; он сидел на своем кресле, будто верхом на лошади, перед фронтом, вытянув длинную и тонкую свою шею, глядел на меня совсем бессмысленно своими серыми глазами. Председатель Митусов был лицо, не вполне для меня знакомое: ты знаешь, что я видел его на свадьбе доктора Матвеева, у которого он был посаженным отцом. Про его наружность сказать совсем уж нечего — чиновник, как чиновник. За отдельным столом, у окна сидел обер-прокурор (фамилию его я слышал, но не помню), самое антипатичное для меня по наружности лицо, даже антипатичнее противной рожи обер-секретаря Бузнецова, хотя и гораздо красивее. Таково было общее впечатление его на меня, но я не могу теперь припомнить даже, какого характера было у него лицо. Из судей моих, восседавших за красным сукном, двое были в военных мундирах, именно Бутурлин и Венцель, остальные в гражданских.

Не мешает кстати упомянуть, что один из моих судей и, как мне говорили, самый злостный, был мне известен по рассказам отца. Это был именно Карниолин-Пинский. Он начал свою карьеру скромно — учителем гимназии в Симбирске. Отец мой служил уже тогда, но, недовольный своим жалким образованием, соблазнил кой-кого из своих сослуживцев просить Карниолина-Пинского читать им лекции особо от гимназистов. Тот согласился, и отец — помню — всегда вспоминал о нем с каким то благоговением. Он приписывал ему пробуждение в себе серьезной мысли, любознательности и здравых понятий о значении образования.

Обер-секретарь указал мне место, где я должен был встать перед судьями, в конце красного стола, и сам поместился около меня, тоже стоя в полоборота ко мне. У него была в руках бумага.

Не помню, объявил ли мне сначала на словах Митусов с другого конца стола, что я предан по высочайшему повелению суду, или прямо обратился к обер-секретарю с приказанием прочесть мне отношение шефа жандармов, заключавшее в себе его повеление.

Обер-секретарь начал читать громко и вятно. Едва ли к кому шла в такой мере, как к нему, знаменитая характеристика Фамусова: «с чувством, с толком, с расстановкой». Главное — с чувством читал. При словах «государь император» или «высочайше повелеть соизволил» он принимал торжественно-благоговейный тон; произнося слова «государственное преступление», он упирал на них с каким-то трагическим пафосом.

Слова о государе императоре и о высочайшем его величества повелении произвели на судей моих (совершенно для меня неожиданное) внезапное действие. Точно всех их жгнул кто нибудь прутом сзади. Они вдруг вскочили со своих мест, как вскакивают лакеи в передней, когда проходит барин, и выслушали они повеление, стоя благоговейно, на вытяжку. Я едва удержался от улыбки. Трудно представить себе весь комизм этого вскакивания, которое пришлось мне видеть два раза. У большей их части ноги, видно, были уже не тверды в коленях от старости, и, чтобы разом подняться с кресел, нужно было руками упереться в стол. Особенно смешон был Бутурлин, у которого ноги как то раз'езжались при этом,

словно все пружины ослабли. После той бурханской важности, с которой они сидели на своих местах, такой пассаж был мне совершенно сюрпризом.

Прочитал обер-секретарь, и они опять уселись.

Председатель показал мне тут мое показание, препровожденное из тайной канцелярии вместе с экземпляром листка «К молодому поколению» и спросил меня, признаю ли я это показание.

Я отвечал:

— Признаю.

— Прочтите!—обратился он к обер-секретарю.

И опять началось тоже чувствительное чтение.

Когда он кончил, Митусов сказал мне:

— Мы имеем дать вам несколько вопросных пунктов; но предварительно священник сделает вам духовное увещание.—Пригласите его сюда—прибавил он, обращаясь к обер-секретарю.

Обер-секретарь направился к дверям комнаты, куда я был предварительно введен; но этого он мог бы и не делать. Оттуда в полуотворенную дверь любопытно глядели к нам головы чиновников, и попу, верно, тотчас же передали, что час его приспел.

Он вступил в комнату суда во всеоружии своем, в епитрахили и с воздетыми руками—в одной евангелие, в другой крест.

Остановившись передо мною на том месте, где стоял до этого обер-секретарь, поп начал жиденьким голоском читать заученную, вероятно, заранее речь о важности присяги и ее нарушении, о необходимости раскрыть преступление во всех его подробностях, о неукрывании никого из сообщников (на это он особенно напирал), потом стал рассказывать бессвязно, дико и при том ни к селу ни к городу какую то притчу из евангелия о рыбаках и мрежах, решительно мне неизвестную.

Видя, что поп уж слишком зарапортовался и начал говорить совсем дичь, Митусов несколько раз говорил ему: «Довольно, батюшка, довольно!», но он никак не хотел отстать, не кончив своей истории и не примазав у ней какой-то морали, вероятно, из начатков христианского благочестия протоиерея Кочетова. Я имел время в подробности рассмотреть безобразную живопись на кресте и на евангелии, пока поп разглагольствовал. Из опасения рассмеяться, я лишь изредка взглядывал в глупое, золотушное лицо проповедника. Он был еще молодой человек.

Наконец то, он отстал и ушел, а обер-секретарь вооружился тетрадкой вопросных пунктов.

Суд выразил свою снисходительность ко мне тем, что обер-секретарь прочел мне сразу, один за другим, вопросные пункты. Потом стал он читать каждый пункт отдельно, и на каждый пункт я сначала отвечал словесно, а потом отходил с обер-секретарем к стоявшему в стороне большому письменному столу, садился там и давал письменно ответ, данный перед тем на словах. Ни один из судей не спрашивал меня ни полсловом о чем-нибудь, не находившемся в вопросных пунктах. Они выслушивали мои ответы в мертвом молчании и только глядели на меня.

О содержании вопросных пунктов не стоит и говорить. Они ничего не прибавляли к показанию моему, и их, пожалуй, можно было бы и вовсе не предлагать мне ¹⁾. Ни один из них не мог ни смутить меня, ни заставить врасплох. Я слишком хорошо все обдумал.

Во второй допрос, когда обер-секретарю сказал председатель, чтобы он точно так же, как и в первый, прочел мне сначала все вопросы сряду, я отказался от этой снисходительности, сказавши:

— Зачем это? Читайте один вопрос, я отвечу, потом другой, и т. д.

На лицах судей показалось удивление, и Венцель, переглянувшись со всеми, особенно внимательно устремил на меня глаза.

Во второй и в третий допросы ²⁾, такие же пустые по содержанию, как и первый, не все сенаторы, однако-ж, хранили прежнее суровое молчание. Они, должно быть, увидали, что я вовсе не буян, и что со мною можно говорить. Не думай, впрочем, чтобы это был действительно разговор, а так какие-то вовсе не идущие к делу вопросы. С ними обращались ко мне только двое: Карниолин-Пинский и Митусов. Первый спросил, например, почему то,—говорю ли я по английски. И еще два-три вопроса были такого же рода, ни важнее, ни интереснее.

Только в последний допрос Митусов решился на вопрос, повидимому, более серьезный. По поводу двух прокламаций, найденных у Костомарова, он обратился ко мне с такими словами.

— А вы не ходили в казармы к солдатам и словесно не возбуждали их к неповиновению?

— Нет.

— И крестьян тоже не собирали, не ездили по деревням, чтобы подстрекать их?

— Нет.

Я теперь не могу уже припомнить, в какие именно дни были три допроса мне в Сенате. Знаю только, что между первым и вторым был краткий промежуток, а третьего допроса я ждал что то очень долго.

Во второй раз такая же толпа была на лестницах.

В третий раз приняли, видно, меры, и обратно провели меня какими то задними ходами. Сенатские чиновники за то проявляли страшное любопытство и собирались сотнями на моей дороге, или глядели, толпясь в дверях, когда меня привозили и увозили.

Тебе едва-ли не лучше меня известно, что происходило в промежутке между моими допросами. Два месяца, проведенных мною в крепости, слились у меня в памяти в однообразный ряд длинных и скучных дней, и только ярко светится

¹⁾ Вопросные пункты, предложенные М—ву на суде, приведены М. К. Лемке в книге „Политические процессы“ СПб. 1907, с. 34—36.

²⁾ Второй и третий допросы М-ва происходили 23 и 31 октября; вопросные пункты предложенные на этих допросах, напечатаны там же, с. 55—58.—„Ответы Михайлова на суде“, напечатанные Герценом в „Колоколе“ в № 131 и перепечатанные в XV томе его „Собрания сочинений“, с. 117—119, следует признать совершенно апокрифическими.

в этих тюремных потемках несколько отрадных минут, о которых я пока не в праве говорить...

В Сенат сопровождал меня все тот же Памятеев. Из жандармов унтер-офицер был всегда тот же Ефимов, выражавший желание проводить меня и до Тобольска. Другой жандарм менялся.

Кажется, после третьего допроса, которым, собственно говоря, кончился мой суд, перевели меня из Невской куртины в главную гауптвахту, о чем я скажу потом. Но до него, если не ошибаюсь, я был призван к коменданту, который подал мне бумагу и просил сесть к столу, чтобы ответить на нее.

Это были еще вопросные пункты от Следственной комиссии, с которою я познакомился в здании первой Адмиралтейской части. Тут я как нельзя лучше понял, чего я мог ожидать от Костомарова, если бы он был призван со мною вместе к суду и ему были предложены вопросы относительно моего дела. Каждый из вопросов, бывших теперь у меня в руках, начинался словами: «Корнет Всеволод Костомаров показывает, что...» или «Корнет Всеволод Костомаров на очной ставке показал...», и проч. Читая эти вопросы, можно было только одному удивляться, для чего было говорить о том, чего никто не знал, кроме меня, да и знать не мог. Подумавши, я увидал, однако-ж, что этими показаниями вся вина сваливается на меня и на московских студентов. Стараясь в ответах своих оградить по возможности последних, я не выгораживал себя.

Во все это время, начиная со второго сенатского допроса, меня более всего томило ожидание, скоро ли, наконец, решение. Надо вспомнить, что во второй раз, когда меня возили в Сенат, от меня уже была отобрана подписка, что при суде и следствии мне не было сделано пристрастия. Из этого можно было заключить, что вопросов более предлагать мне не будут, и, действительно, то, что спрашивали меня на третьем допросе, было совершеннейшие и бесполезнейшие пустяки.

Весть о назначенном мне наказании, разумеется, огорчила меня, но не столько, сколько огорчило бы меня помилование, если бы оно последовало, вследствие моей глупой выходки, беспокоящей меня и до сей поры ¹⁾. Я, впрочем, никак не

¹⁾ М. И. Михайлов говорит здесь о всеподданнейшем прошении о своем помиловании. Привожу это прошение целиком, как еще нигде не напечатанное: „Ваше императорское величество! В отобранном от меня показании я принес полное и чистосердечное признание в привозе из-за границы и распространении здесь листа противозаконного содержания под заглавием „К молодому поколению“. Я объяснил также и побуждения, заставившие меня решиться на такой поступок. Причины эти не могут служить мне ни оправданием, ни смягчением моей вины пред беспристрастным лицом закона, и я, глубоко чувствуя виновность свою перед ним и преступность моего образа действий, держу прибегнуть к беспредельному милосердию вашего императорского величества. Безропотно покоряюсь участи, ожидающей меня, и считаю долгом повторить вновь, что при распространении листа „К молодому поколению“ я не имел цели колебать общественное спокойствие, возбуждать страсть или разжигать вражду. Такое намерение противоречило бы всему моему характеру, в существе своем миролюбивому; противоречило бы горячему желанию моему, чтобы всё на нашей родине развивалось к лучшему спокойно, разумно и законно. Желал распространить лист „К молодому поколению“, и имел в виду одно: мне казалось, что появление его ускорит законные меры

ожидал такого большого срока каторжной работы. Мне помнится, я при тебе читал как-то статьи закона, касающиеся «преступлений» в роде моего, и мне постоянно думалось, что высшим сроком должно быть шесть лет ¹⁾.

Еще до произнесения мне приговора в Сенате получил я известные стихи и письмо от заключенных студентов. И то, и другое сильно меня растрогало. Я не мог удержаться от слез и тотчас же отвечал им стихами, которые ты знаешь ²⁾.

Кажется, 7 декабря ³⁾ приехала за мною карета, чтобы свезти меня в последний раз в Сенат. Панкратьев вошел в новое мое помещение, сообщил мне, что мне будет прочитана конфирмация, выкурил папиросу, пока я одевался,—и мы поехали. На этот раз я был, кажется, потребован раньше, чем в прежние мои поездки.

Полиция, разумеется, приняла меры, чтобы прежних любопытствующих не было на лестницах и во дворе, и точно, когда мы приехали, было довольно пусто у входа.

В этот раз меня провели в другую комнату, вероятно, канцелярию отделения, но тоже выходившую дверями с другой стороны в палату, где производились

к расширению в России свободы слова, которая, как я думал, могла бы лучше всего разрешить появляющиеся в русском обществе недоразумения и была бы могучим средством для примирения враждебных партий и интересов, и самым крепким и прочным звеном, соединяющим выгоды и нужды народа с интересами и намерениями правительства. Прибегая к милосердию и правосудию вашего императорского величества, я дерзаю умолять об одном: казня мой поступок, не осудите в нем, государь, всего человека и не лишите меня лучшей моей надежды посвятить со временем мои скромные способности посильному служению действительной пользе отечества и этим, хоть отчасти, загладить мое преступление». (Дело III Отделения собств. его имп. вел. Канцелярия, I эксп., 1861 г., № 274, л. л. 123—124, хранящееся теперь в Историко-Революционном Архиве).

¹⁾ Правительствующий Сенат определил: „отставного губернского секретаря из дворян Михаила Илларионовича Михайлова, 32 лет, за распространение злоумышленного сочинения, в составлении коего он принимал участие, и которое имело целью возбудить бунт против верховной власти, для потрясения основных учреждений государства, но осталось без последствий, не подвергая смертной казни, определенной за преступления этого рода, сопровождавшиеся вредным последствиями, лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на 12 лет и 6 месяцев, а по прекращении сих работ, за истечением срока или по другим причинам, поселить в Сибири навсегда“. Полностью определение Сената и вопросы, на основании которых оно составлено, напечатаны в книге М. К. Лемке „Политич. процессы“. СПб., 1907, с. 58, 58—67.

²⁾ Стихи от заключенных студентов („Из стен тюрьмы, из стен неволи...“), принадлежащие Н. И. Утину, напечатаны В. Я. Богучарским в „Материалах для истории революц. движения 60-х гг.“ Париж., 1905, с. 24 (русс. издание, с. 17) и в книге М. К. Лемке „Политич. процессы“, с. 31. Известен также и ответ М. И. М.—ва („Крепко, дружно вас в объятья...“), напечатанный там же: В. Я. Богучарским, с. 24—25 (русс. изд., с. 17—18) и М. К. Лемке, с. 31—32, а также в „Полном собрании сочинений М. И. Михайлова“ под редакцией П. Бякова, т. I, с. 7.

³⁾ 21 ноября Государственный Совет, рассмотрев сенатское определение и всеподданнейшее прошение М.—ва, утвердил заключение Сената. 23 ноября Александр II своею резолюцией уменьшил срок каторжных работ до 6-ти лет, а 7 декабря М.—в был доставлен в Сенат для объявления ему приговора.

мне допросы. Формальности, с которыми сопряжено произнесение в Сенате приговора, были уже мне известны.

Мне пришлось прождать тут с четверть часа. Около меня образовался целый кружок чиновников, большею частью из молодежи. Некоторые рекомендовались мне, другие прямо заговаривали.

Тут мне сказали, что «с моей легкой руки» еще начинается в Сенате дело такого же рода, как мое. Ведь на мне был сделан первый в России опыт обыкновенного суда над политическим преступником. Теперь, как мне сказали, был предан суду за распространение «Великорусса» Владимир Обручев и с ним еще четверо или пятеро молодых людей и, между прочим, мой знакомый доктор Боков¹⁾. Потом, как я узнал, все, кроме Обручева, были освобождены от суда и следствия.

Наконец, сенаторы изготовились к произнесению мне приговора. Обе половинки дверей в комнату из заседания были отворены, позвали приехавших со мною жандармов, велели им обнажить палаши и поставили их по сторонам двери на пороге. Позвали меня.

Обер-секретарь Кузнецов, с бумагою в руках, стоя по ту сторону порога, указал мне на него и сказал:

— Остановитесь тут.

Я стал между жандармами, и Кузнецов начал чтение своим источным и торжественным голосом. Он мог бы быть хорошим дьяконом.

Всё, что он читал, за исключением мнения Государственного Совета, было мне уже очень хорошо известно. Чтение длилось долго, и я пользовался этим временем, чтобы наблюдать за моими судьями. Они сидели за тем же столом, но в несколько ином порядке, и между ними я увидал совершенно незнакомого мне генерала.

Кто-то из чиновников говорил мне перед этим:

— Подлец Карниолин-Пинский нарочно сел сегодня задом, чтобы не смотреть на вас. Видно, совестно же стало под конец.

Это предположение было несправедливо.

Он, действительно, сел задом, но весь повернулся в мою сторону и, один, из всех сенаторов, смотрел на меня так пристально, не отводя ни на минуту своих прищуренных злобных глаз. Седые волосы его и без того торчали во все стороны, но он беспрестанно еще более ерошил их, запуская в них пальцы. Другой, не менее пристальный взгляд был направлен на меня сбоку, от того стола, за которым я писал ответы на вопросные пункты. Тут сидел какой-то молодой человек очень аристократического вида, в мундире (каком именно, я уж не помню), и, подавшись вперед на своем стуле, тоже не спускал с меня глаз²⁾.

¹⁾ О „великоруссах“, преданных суду—см. выше примеч. к стр. 56.

²⁾ Неизвестно откуда взял М. К. Лежнев (Политич. процессы, с. 67—68) сведения, что собрание Сената в этот день было публичное и что „бюрократический beau monde“ спешил поглядеть на интересное зрелище“.

Мнение Государственного Совета зашевелило во мне злобу на себя, и я рад был только тому, что и сам Государственный Совет понял, повидимому, всю неискренность моего обращения к государю и не принял его во внимание.

Когда Кузнецов, приостановившись в чтении на минуту, прокашлялся и с еще большею торжественностью возгласил громогласно: «На мнении Государственного совета собственною его императорского...» и т. д., позлащенные идола вскочили со своих мест.

Слова резолюции: «ограничиваю каторгу шестью годами, а в прочем быть по сему». Кузнецов прочитал уже совсем достойно дьякона, возглашающего многолетие.

Перед тем, как меня позвали выслушивать это чтение, один чиновник сказал мне, чтобы я не смеялся во время его. Я и не смеялся, хотя мне подчас хотелось улыбнуться, слушая тонкие соображения Сената над фактами, которые были ему известны в таком превратном виде. Тем не менее я, говорят, заслужил неудовольствие сенаторов и даже самого государя, что выслушал решение не с достаточным благоговением и страхом. Верно, нужно было, по их мнению, стоять, вытянув руки по швам, а я держал их, скрестивши, и не изменял положения даже в то время, когда сенаторы вскочили по холопски с своих мест.

По прочтении конфирмации Кузнецов вынес мне бумагу для подписи.

— Что же написать? Что я доволен вашим решением?

— Только имя и фамилию,— произнес Кузнецов тревожно и суетливо, кладя бумагу передо мною.

Что такое там было написано, я не прочитал, а прямо подписал: Михаил Михайлов.

И вся прихожая, где я надевал пальто и калоши, и вся длинная площадка, и значительная часть лестницы были полны любопытных. Сенатские чиновники, верно, забросили тоже в ту минуту свои дела, догнали меня, чтобы пожать мне руку на прощанье. В толпе стоял Боков и, когда я проходил, выдвинулся попрощаться со мной. Я был очень рад его вниманию и от души пожал ему руку...

Внизу, когда я вышел уже с под'езда, справа послышались женские голоса: «Михаил Ларионыч, прощайте». Это были Варенька с Машенькой ¹⁾.

Они бросились ко мне, и я поцеловался с ними. У Машеньки глаза были полны слез. Варенька протянула ко мне руку, когда я уже сел в карету.

— Буда прикажете?—спросил извозчик.

— В крепость!—крикнул Панкратьев и вскочил в карету.

V.

Переселение на главную гауптвахту.

Ты, может быть, знаешь лучше меня, что заставило крепостное начальство перевести меня из Невской куртины на главную гауптвахту. Плац-майор говорил мне, что это делается для большего моего спокойствия; плац-ад'ютант, — что

¹⁾ „Варенька и Машенька“, вероятно, сестры Людм. Петр. Шелгуновой (Михаэлис). Мария Петр. Михаэлис 19 мая 1864 г. бросила Н. Г. Чернышевскому букет цветов во время исполнения над ним гражданской казни, когда он стоял у позорного столба.

меня хотели удалить от студентов, которые туда переводятся. Последний, впрочем, не знал сначала, что меня переведут именно на гауптвахту, и, не без соболезнования, говорил, что меня, кажется, хотят поместить в Алексеевском равелине. Я знал, что там сидит, между прочим, Владимир Обручев, и не находил в этом ничего удивительного.

Как бы то ни было, но меня перевели. Когда именно, я не помню, но вскоре после третьего допроса—около 20-го ноября. Я это предполагаю потому, что еще в куртине узнал о смерти бедного Добролюбова, а 20-го я написал стихи на его смерть уже на гауптвахте. Это был день его похорон ¹⁾.

От крыльца Невской куртины до главной крепостной гауптвахты лишь шагов полтора. Я перешел туда поутру вместе с одним из плац-ад'ютантов. Тут кстати сказать, что два крепостных плац-ад'ютанта разделяли сначала между собою всех крепостных арестантов на две половины, и каждый заведывал своею половиной. Потом они нашли более удобным для себя разделиться днями: таким образом, два дня приходилось дежурить одному, да два—другому. Тут я ближе познакомился и с другим крепостным плац-ад'ютантом Пинкорнелли, которого видал до тех пор лишь изредка.

Пока еще не время характеризовать этих двух ближайших ко мне лиц из крепостного начальства; но я не могу не вспомнить с особенно теплым чувством доброго и милого Пинкорнелли ²⁾.

Новое помещение мое было гораздо лучше. Комната была меньше, чем в Невской куртине, но тут был за то прямой потолок, и меня уже не давил этот тяжелый серый свод. Окно было одно, за то большое и светлое, хотя тоже забеленное снаружи и с еще более крепкими решетками. В довольно большую форточку я мог видеть Невские ворота крепости, где было, обыкновенно, не мало проезжих и прохожих. Одним из украшений здешней моей жизни была, между прочим, большая круглая печь. Она топилась у меня, и топка ее всегда развлекала меня. Еще развлечение, кроме смотрения в форточку и печки, представляли беседы солдат в караулке рядом со мной, которая отделяла мой номер от кордегардии. Всё, что тут говорилось, слышно было у меня как нельзя лучше, и я очень часто, в особенности под вечер, ложился на постель и слушал солдатские прения и разговоры. В постели тоже произошло улучшение: здесь был волосной матрац сверх соломы. Платье мое хранилось тут же у меня, а не уносилось, как прежде, ефрейтором на сбережение куда то.

Вот и все изменения; а затем все шло точно так же, как в куртине. У дня был тот же порядок и прислуживали мне те же лица.

¹⁾ Н. А. Добролюбов умер 17 ноября 1861 г. Стихотворение М. И. М-ва на смерть Добролюбова („Вечный враг всего живого...“) в первый раз напечатано в „Колоколе“ № 119—120 от 5 января 1862 г.—См. „Полное собр. сочинений М. И. М-ва“, под редакцией П. В. Быхова, т. I, с. 6—7.

²⁾ И. Ф. Пинкорнелли много способствовал сношениям М-ва с волей. См. напр, письма М-ва к Шелгуновым из крепости, напечатанные П. В. Быховым в „Современн.“ 1912, № 9, с. 200—211 (Из переписки М. Л. Михайлова). И. Ф. Пинкорнелли изображен на известной картине, изображающей заковку М-ва в кандалы (М. К. Лемке, Полит. процессы, с. 69).

Я был особенно доволен, когда на дежурстве был бойкий белокурый ефрейтор небольшого роста, тот самый, который выстругал мне из лучинок вилку и мешалку для чая. Он был грамотный и либерал. Еще когда я был в куртине, он обратился раз ко мне с просьбой дать ему какуюнибудь книжку почитать. У меня из русских книг была только скучная и глупая «Всемирная история» Вебера. Он взял первый том, но вскоре возвратил мне его, как вещь незанимательную. В караулке при гауптвахте он, обыкновенно, читал вслух, и здесь, слушая это чтение и потом рассуждения солдат, я мог убедиться еще раз (если бы не был и прежде убежден), как нелепо сочинять какуюто особую литературу для солдат, для народа и проч. Ефрейтор читал «Солдатское Чтение» или что то подобное, рассказывавшее о воинских подвигах, какие то исторические рассказы о Петре Великом и об Александре. Тон рассказа, с подделкою под народный говор, никому не нравился, и самое содержание казалось невероятным.

— Это так только для нас написано,—замечали некоторые,—а ничего этого и быть не могло.

За то всех приводило в восторг чтение пушкинских повестей Белкина. Эти повести читались несколько вечеров и особенно заняли всех рассказы «Барышня-крестьянка» и «Станционный смотритель».

Солдатский либерализм тоже замечателен.

Когда либеральный ефрейтор был дежурным, я не подвергался тому шпионству, которое почему то явилось недели за две до моего отъезда в ссылку. Что было причиною внезапных строгостей¹⁾, новый ли плац-майор, какойто вялый мямля, или какиенибудь инструкции свыше,—я не знаю; но только все чаще и чаще солдаты поднимали крышку дверного оконца и наблюдали за мной, и я слышал иногда вопросы и ответы: «Не пишет ли?»—«Нет, лежит читает». Подглядыванье это, сопровождаемое шушуканьем, меня сердило.

Раз я слышал разговор, который очень смутил меня.

И сам комендант стал, должно-быть, внимательнее и строже. Он заметил у меня как то на столе не крепостную чашку, с серебрянной ложечкой, и из-за этого, как я узнал из солдатских разговоров, вышло что-то в роде следствия и допросов находившимся в караулке солдатам.

Глядя из своей форточки, я часто видел арестованных студентов. Почти как раз против моего окна было крыльцо другого отделения Невской куртины, и на нем нередко собирались студенты, сидели, курили, уходили и вновь приходили. Тут я видел Веню, III . . . и раз явственно слышал, как они говорили, указывая на меня: «Это Михайлов, кажется».

Дня за четыре до произнесения мне приговора на площади, я почти все утро простоял у форточки, глядя на роспуск их по домам. Наехало пропасть мужчин и дам, верно, все родных, и студенты сновали по крыльцу, подбегали к под'езжавшим саням, пожимали руки и весело разговаривали. Некоторые из приезжавших родных или знакомых проходили на крыльцо, вероятно, с тем, что-бы посмотреть, как это содержатся люди в крепости. Слышались слова:

¹⁾ Не были ли причиною усиливших строгостей слухи о подготавливаемом освобождении М-ва?

— Можно?

— Идите, ничего... Можно.

— Да ведь нельзя, господа! и т. п.

Внятнее всего доносился до меня голос Пинкорнелли, суетливо распоряжавшегося в куртине.

Признаюсь, я позавидовал этим юношам, выпархивающим на волю из тюремной западни.

Явственно слышал я и такие разговоры:

— Что, стихи-то взял?

— У тебя списаны стихи?

Я предполагал, что дело идет о моих стихах, и, кажется, не ошибался. Мне было известно, что они переписывали их для себя.

Я, однако ж, потерял хронологическую нить своего рассказа. Надо вернуться к тому утру, когда мне была прочитана конфирмация в Сенате.

Только что вернулся я из Сената, ко мне пришел комендант и привел с собою попа, Михаила Архангельского, как он мне отрекомендовался, и оставил его со мной.

Еще прежде спрашивал он у меня (в куртине), не желаю ли я побеседовать со священником, но я отказывался.

Поп был человек еще молодой, хотя и лысый. Мне не понравилось в нем что то лысое. Он заговорил со мной об исповеди, о том, что мне следовало бы выслушать и божественную литургию, и всё в этом роде; но в то же время он вел как будто и какой то допрос: спрашивал, не было ли у меня каких сообщников, не собираюсь ли я избежать наказания посредством бегства, и еще что то в этом роде. Особенно налегал он на побег.

Всё последнее время была у меня одна тревога. Я страшился, что вам придется ехать из Петербурга раньше меня ¹⁾, и каждая весть, приходившая от вас, всё более и более утверждала меня в моих опасениях.

Из доставленной мне статьи свода законов о церемонии, совершаемой на площади, я узнал, что поп обязан усовещивать меня две недели, если я выражу нежелание исповедываться. Эти две недели могли решить ваше дело, и я тотчас же решил не выставлять попу своих убеждений, а исполнить формальность, на которой он настаивал.

Я сказал ему, что чем скорее это делается, тем лучше.

— В таком случае исповедуйтесь завтра.

— Хорошо.

Он зашел ко мне и вечером в тот день, принеся святцы и евангелие, прочитал мне несколько молитв, а в евангелии заложил лентой главу от Иоанна: «Да не смущается сердце ваше», и советовал прочесть ее.

¹⁾ Л. П. и Н. В. Шелгуновы решили не расставаться с М-вым в ссылке и, по возможности, облегчать ему жизнь в Сибири. Во время суда над М-м Н. В. Шелгунов вышел в отставку, а весною 1862 г. Шелгуновы выехали в Сибирь.

Присидел он у меня довольно долго; мы говорили о всякой всячине, но он не раз возвращался в разговоре к моей судьбе и всё старался изобразить якими красками те ужасы, которые ожидают меня, если я буду столь неблагоразумен, что решусь на побег.

Откуда шли вести, что я собираюсь бежать с дороги, или что меня хотят отбить у жандармов, не знаю, но об этих вестях я слышал не от одного попа.

Я, в свою очередь, спрашивал его, не знает ли он о дне, когда будет мне объявлена на площади сентенция суда, и вообще повзут ли меня для этого на площадь, но поп отзывался неведением—и врал, потому что ему был, как я потом догадался, известен этот день.

Вопросы о том же, обращенные мною к коменданту и плац-майору, тоже оставались без определенного ответа. Они отвечали только: «не знаю», да «не знаю».

Одно только говорили мне утвердительно, что я не буду из крепости отвезен в острог, как это требуется законом. Впрочем, об этом мог я и сам догадаться, так как ко мне явился поп со своими увещаниями.

На следующее утро (это было, если не ошибаюсь, во вторник 12-го декабря) плац-адъютант пришел звать меня в церковь при комендантском доме, как меня накануне предуведомил отец Михаил. Эта маленькая домашняя церковь была совсем пуста. Меня встретил здесь комендант с полком. Комендант удалился, а поп пригласил меня на исповедь к аналою, поставленному перед царскими дверьми.

Исповедывал он по какой-то книжке гражданской печати, которую скрывал от моих глаз. В нее была у него вложена какая-то записочка.

Все вопросы почти исключительно касались моего дела. Поп расспрашивал, не скрыл ли я имен сообщников в деле, не принял ли на себя более, чем следовало, и потом, не сговаривался ли я с кем-то о побеге.

После исповеди он живо отслужил обедню. Как, однако, он ни торопился, я успел предогнуть в нетопленной церкви и был очень доволен, когда, по окончании этой церемонии, комендант пригласил к себе в кабинет и меня, и отца Михаила, и угостил нас горячим чаем с ромом.

Перед сумерками, часа в три, приехал ко мне Суворов ¹⁾ и сообщил, что на днях будет мне позволено видаться с моими друзьями. Он назвал поименно всех. Оставался он у меня довольно долго, говорил о том, что в дороге мне будут предоставлены все удобства, жалел, что не может спасти меня от кандалов и т. д.

Между прочим, он спрашивал меня (это по-английски), знаком ли я с Герценом и Долгоруковым ²⁾, и заметил, что Герцен совсем не то, что издатель «Будущности». Все, что ни пишет Герцен, все так *gentlemanlike*, тогда как Долгорукий и бездарен, и мало видно в нем честности.

¹⁾ Петербургский генерал-губернатор, принявший живое и деятельное участие в М-ве. Благодаря его письмам к сибирским властям, М-ву оказывали всяческое снисхождение и, по возможности, облегчали его участь в Тобольске, Иркутске и в выборе места для отбывтия им наказания.

²⁾ Долгоруков, кн. Петр Владимирович (1816—1868), эмигрант, публицист, издававший газеты: «Будущность» (1861), «Правдивый» (1862), «Листок» (1863—1864).

Суворов в заключение сказал, что он еще заедет ко мне проститься.

Только в этот вечер я сообразил, что, вероятно, мне будет произнесен приговор на площади в четверг, т. е. 14-го декабря, и это вот почему: поп наметнул мне поугру, что не мешало бы мне «выслушать послезавтра литургию», но я наотрез отказался.

Накануне 14 декабря я уже с большою уверенностью ожидал церемонии и вслед за нею свидания с вами; последнее ты знаешь очень хорошо. Я и ждал, что вы приедете посмотреть на мою казнь, и в то же время боялся, не узнаете о ней; в газетах, как мне говорили, не было еще объявлено ¹⁾).

13-го я нарочно лег раньше в постель, чтобы встать по утру пораньше самому, а не дожидаться, пока разбудят...

[Утром в 5 часов 14-го декабря, Михайлова вывезли на эшафоте, или на позорной колеснице, спиною к вознице, в серой арестантской куртке и в арестантской шапке, на Мытнинскую площадь, что на Петербургской стороне. Там, при барабанном бое, его поставили на колени, и после прочтения приговора, палач переломил над его головой шпагу. Площадь была почти пуста, так как было еще темно, а близкие друзья Михайлова ничего не знали. Милый старик Пинкорнелли, крепостной плац-адъютант, был очень глух, и хотя Михайлов просил его съездить к Шелгуновым и сказать им, что его вывезут на площадь, но он этого не слышал и не съездил.

В этот день к Михайлову приезжали все его друзья ²⁾), а вечером его посадили в казенную повозку с двумя жандармами, а его возок с жандармами поехал вперед. Это было устроено на тот случай, если бы молодежь вздумала отбивать Михайлова.

Рано по утру кибитка въехала в ворота Шлиссельбургской крепости. Бывшему из возка Михайлову тотчас же явились сторожа с полотенцами и стали обвязывать ему кандалы.

— Чтобы как-нибудь не обезпокоить сидящих,—объяснили ему.

Корridor был устлан толстым войлоком, так что тишина в крепости была мертвая. Михайлова ввели в номер, на окне которого сидело несколько голубей. Вскоре подали чай на прекрасной посуде, с хорошими булками, совсем домашнему, и к чаю пришел комендант ³⁾), и много говорил о Сибири, где он служил.

Из Шлиссельбурга вывезли тем же порядком: сначала ехал возок, а сзади кибитка с Михайловым. Тогда они миновали станцию Шальдику, откуда дорога

¹⁾ Исполнение приговора было назначено на 14 декабря 1861 г. в 8 час. утра; объявление об этом было помещено, с целью не допустить „сочувствующей М-ву демонстрации со стороны студенчества“ в № 275 „Ведомостей Спeterб. Городск. Полиции“, вышедшем только утром 14 декабря. — Объявление это перепечатано в „Государств. преступлений в России“. В. Я. Богучарского, т. I, с. 199 (Штутгард, 1903—рус. издание, с. 111).

²⁾ Петербургский военный ген.-губернатор А. А. Суворов разрешил М. И. М.—ву перед отъездом проститься с друзьями и знакомыми. Разрешением этим воспользовались: Н. В. Шелгунов, Я. П. Цоловский, А. Н. Пыпин, П. П. Пекарский, Н. А. Некрасов, Н. Г. Чернышевский, А. А. Серно-Соловьевич и Н. В. Гербель.

³⁾ В 1861 г. комендантом Шлиссельбургской крепости был—Троцкий.

сворачивала в имение родных Шелгуновых, то Михайлова посадили в его возок, а повозка уехала обратно. Засады нигде не оказалось] ¹⁾).

VI.

В дороге.

.... Молчание ²⁾ жандармов продолжалось не долго. Я разговорился с ними; они стали расспрашивать о моем деле; я рассказал, что считал для них интересным; они начали рассказывать о том, что слышали обо мне, — и, таким образом, в первый же день между нами водворилось взаимное доверие. Они тотчас последовали моему совету отцепить свои сабли, от которых им неловко было сидеть, и снять мешавшие им пистолеты. Вечером, в Новой Ладого, где мы ужинали рыбной селянкой в гостинице при почтовом дворе, мы уже были как будто старые знакомые.

Из рассказов их я узнал следующее: между ними был слух, в верности которого они были совершенно убеждены, что волнение в университете было произведено мной, что я был «всеим студентам голова». Затем они, на основании слухов, шедших от начальства, были уверены, что меня собирались отнять и отбить у них на первой станции от Петербурга, в Ижоре, и опять таки студенты, и что их там должно было собраться человек двадцать.

Вследствие этого, меня отправили не в моем возке, а в мой возок посадили других жандармов и на одного из них надели мою арестантскую шапку, чтобы его можно было принять за меня. Впереди поехал фельд'егерь, за ним возок, а моя кибитка должна была отставать немного. В Ижоре раз'езды наши происходили от того, что неизвестно было, где остановился возок и фельд'егерь.

Затем Каменев показал мне маршрут, которого сначала никак не хотел вынимать, потому что не велено, и я увидал, что меня повезут дорогой, которой я никогда не ездил, именно—на Мологу, Ярославль, Кострому, Вятку, Пермь и т. д.

В какой мере установилось между нами доверие, яснее всего увидал я на следующее утро.

¹⁾ Окончания пятой главы „Записок“ М. И. М.—ва нет ни в тексте, напечатанном в „Русск. Богатстве“, ни в тексте „Русской Старины“. В первом (1906. № 7, с. 321) поставлены точки, никак не оговоренные в примечании. В „Русской Старине“ (1906, № 8, с. 455) напечатано как будто изложение „Записок“ Михайлова, приводимое нами в []. Является ли эта вставка изложением соответствующего отрывка самих „Записок“ М. И. М.—ва или составлена она редакцией вместо недостающей страницы рукописи (см. „Русск. Стар.“ 1906 г. № 9, с. 536)—редакция не оговаривает. К сожалению, как указано в предисловии, ни подлинной рукописи, ни полной копии „Записок“ мы не могли достать. Некоторым дополнением к этому месту „Записок“, а также и к предшествовавшим событиям (арест, следствие, суд, гражданская казнь) является наша статья о М. И. Михайлове, напечатанная в „Былом“ 1922 г., кн. 20.

²⁾ В „Русской Старине“ (1906, № 9, с. 536), где были напечатаны „Записки“—примечание: „в доставленной в редакцию рукописи г-жи Шелгуновой недостает одной страницы“.

Незаметно до света приехали в Тихвин, где при почтовой станции были прекрасные комнаты (даже с зеркальными стеклами в окнах), и мы расположились тут пить чай. Мне очень захотелось написать вам несколько строк, что я и сделал совершенно явно. Когда мы вышли садиться, я сказал Бурундукову, чтобы он бросил письмо в ящик, прибитый у почтамта, насупротив станции, и видел сам, как он опустил его.

Когда я первый раз вынул свою записную книжку и стал в ней писать карандашом, Каменев спросил меня: «Не жизнь ли вы свою описываете?» Я ответил утвердительно, и он потом обыкновенно говорил мне при каждом удобном случае: «А что, записали про то, как опрокинулись?» — «А про то, как смотритель содрал за студень целковый, не забыли?» и т. п.

Его очень интересовало, что такое могло быть написано в листе, за который меня не только ссылали, но еще и заковали. Последнее, как говорили они, было для них совершенно неожиданностью и очень их смутило; им случалось уже препровождать таким образом разных господ, но в кандалах никого не возили: «Уж видно бедовый!». Потом, когда я передал им, сообразно их понятиям, содержание воззвания, Каменев очень серьезно заметил, что со мной поступают несправедливо, что дело было там написано, что я за правду пострадал. И он повторял это часто во все продолжение дороги. Особенное впечатление произвели на него, кажется, мои слова о том, что крестьян обманули волей и что необходимо уменьшить срок службы солдатам.

Впрочем, мы скоро обо всем переговорили, и я большую часть дороги мог молча предаваться моим безконечным, тяжелым и грустными думам.

Раз я как то начал говорить о том, какая гадость — жандармская обязанность, какой позор — служить в III Отделении, какая низость — всякий донос и так далее в этом роде. Провожатые мои, особенно Каменев, слушали меня с большим вниманием. Им, казалось, это было совершенно ново.

— Ну, что, правду я говорю? — спросил я, наконец.

— Правду, — отвечал, задумавшись, Каменев. — Вот, хотя бы у нас был такой случай. Что уж может гадее быть? А есть этакие подлецы!

И он мне рассказал об одном жандарме, который за какое то преступление был приговорен к шпицрутенам. Он прошел сквозь тысячу человек. Когда его привезли в лазарет, один из товарищей, видя страшное положение его, подошел к нему с сожалением и предложил ему чарку вина, чтобы он подкрепился; наказанный жандарм, почти умиравший, не нашел ничего другого сказать товарищу, что он донесет на него за это противозаконное предложение.

Я так засиделся в последние три месяца, что мне безпрестанно хотелось ходить, хотя этому и значительно мешали кандалы. Как только мы отъехали станции три от Шлиссельбурга, я стал выходить из возка почти при каждой перемене лошадей. Меня смущало только, отчасти, бряцанье моих цепей; но сделать их менее звонкими мне не удалось. Станции за две до Новой Лядоги Бурундуков принялся обматывать их нашедшимся у нас холстом; но это не помогло. Главное неудобство заключалось в том, что в городах, где не случалось на станции ничего поесть, нельзя было, не возбудив придирок, идти в гостиницу

или в трактир, особенно, если он еще был далеко от почтового двора. Один неприятный случай такого рода я сейчас расскажу, а теперь стану продолжать по порядку.

Я уже сказал, что в Тихвин мы приехали рано утром 16-го декабря. Хозяин долго не хотел здесь взять ничего с меня за чай, сливки и хлеб, говоря, что это было бы грехом. Здесь еще не привыкли к «несчастливым», едущим в своем экипаже. Дальше, около Тобольска, и за Тобольском, наоборот, кажется, потому и норовили взять с меня за все подороже, что я «секретный», а еду по себе, а не тащусь с партией.

Когда я сел в возок в Тихвине, ко мне подошла нищая и стала просить. И ямщик, и все стоявшие близко начали останавливать ее, крича: «Разве не видишь? разве у таких просят? Ты посмотри ему на ноги то!» И тут разница между местами, близкими от Сибири и далекими. Здесь я уже не встречал больше нищих; а там, то есть подальше от Петербурга, они на всякой почти станции обступали меня, и я брал постоянно медные деньги у Каменева, которому жалко было платить их не только даром, но даже и за дело, хоть бы, например, за еду, за чай.

На следующее утро мы приехали в Устюжну, во время обедни. День был воскресный, и над городом стоял гул благовеста. Здесь при станции была гостиница; мы остались поесть, потому что дальше трудно было рассчитывать на обед, и я очень обрадовался трем-четырем номерам «Северной Пчелы», в которых, впрочем, не было ровно ничего интересного.

Так как было еще рано,—обедня только что начиналась,—и в трактире не было еще посетителей, то мы расположились в общей зале, рядом с бильярдной. Там скоро раздалось стуканье бильярдных шаров, и в полуотворенную дверь было мне видно, как там какой то офицер принялся играть с маркером. Он то и дело заглядывал в комнату, где я сидел, и, наконец, вошел.

— Вы, вероятно, господин Михайлов?—спросил он меня и отрекомендовался офицером Софийского пехотного полка.

Его особенно интересовало студенческое дело. Он спрашивал меня, выпущены ли студенты из крепости и на каких основаниях; много ли из них сослано, куда именно, на долго ли. Я, насколько мог, удовлетворил его любопытство.

Замечу, кстати, что весть о моей ссылке как то особенно быстро прошла по всей дороге, которую я совершал. Не говоря уже о городах, не было почти станции, где бы смотритель не знал моего имени и, завидев жандармов, не спрашивал—«не Михайлов ли это?» Жандармы не раз выражали мне свое удивление по этому поводу.

Вечером на четвертый день по выезде из Шлиссельбургской крепости мы добрались скучной и утомительной дорогой до Ярославля. Целый день мне не удалось нигде перекусить. Богатый торговый город Рыбинск тоже не выручил; гостиница была где то за версту от станции, а в другой близости ничего не готовили по случаю поста. Я решил перетерпеть голод до Ярославля.

На станции тоже ничего нельзя было достать здесь, кроме чая.

Жандармы мои решили ехать в гостиницу, куда привели бы и почтовых лошадей. Мы отправились, и скоро возок мой остановился у хорошо освещенного подъезда очень большого здания, какие редко встречаются в наших губернских городах.

Бурундуков пошел справляться, есть ли отдельный номер, и после каких-то долгих переговоров пришел с трактирным слугой во фраке объяснить, что свободные два-три номера есть только в третьем этаже. В общих залах довольно таки гостей, а идти в номера можно по корридорам только мимо их. Бурундуков замечал, что это «ничего». Я вынул из дорожного мешка два полотенца и опутал ими кандалы, но они не брякали только до входа моего в большую, очень хорошо убранную прихожую, где передо мной растворил дверь весьма приличный швейцар. И эта прихожая, и широкая, устланная ковром лестница напомнили мне хорошие эграницные гостиницы, и я никак не мог не подумать, что там нигде не был бы возможен визит вроде моего.

Слуга слегка поддерживал меня, чтобы я мог ступать не так твердо, когда мы входили по лестницам и шли по широким и светлым корридорам. Кандалы мои предательски позвякивали, несмотря на мои старания ступать как можно осторожнее. Мы прошли мимо ярко освещенной столовой.

Двери в корридор были открыты; но господа, бывшие там, были слишком заняты разговором или обедом и не слышали интересного звяканья. Рядом были открыты двери и из билиардной. Там шла игра; но один господин выглянул таки на меня в корридор. Замечательно то, что звука кандалов нельзя принять ни за что другое. Всякий сейчас же устремляет глаза на ноги и никак не подумает, как бы тихо они ни брякали, что это звенят медные деньги в карманѣ или чтонибудь другое. Выглянувший, к счастью, не отличался, верно чуткостью.

Наконец, взобрались мы в третий этаж, в просторную и чистую комнату, и я заказал обед. Мы еще не успели кончить обеда, как явился в комнату какой то маленький горбун, слабое подобие Квазимодо по лицу, в черном сюртуке. Это, как оказалось, был староста на станции, явившийся за получением денег.

Он, впрочем, не удовольствовался тем, что взял прогоны, и, надеясь, вероятно, получить еще целковый, поднял вопрос о том, имели ли право жандармы в'езжать со мной, «секретным» арестантом, в гостиницу.

— Это так нельзя оставить,—говорил он гадким, каким то разбитым голосом.—Мне законы известны. Вам следовало в'ехать в станционный дом. Вы еще за это ответите.

Бурундуков вспыхнул.

— Прогоны ты получил?—раскричался он,—так и ступай себе. Что ты тут за начальник, что пришел спрашивать? Да я отвечать то тебе не хочу. Почему ты знаешь, какие у меня инструкции? Вон сейчас отсюда!

Горбун, вероятно, ждавший мировой сделки, начал ворчать что то под нос себе, из чего можно было разобрать только.

— Здесь, ведь, тоже есть и ваше начальство... Штаб-офицер... Здесь же, начал то поедете... заставят вас отвечать!

— Пошел, тебе говорят, вон! Жалуйся, кому знаешь!—крикнул Бурундуков уже так решительно, что поганый горбун рассудил убраться поскорее от греха.

Каменев всё это время сидел молча и с совершенным безразличным спокойствием в лице пил чай, стакан за стаканом. Надо заметить, что хотя ему и были вверены деньги и бумаги, но он старшинством уступал Бурундукову и был обличен доверием начальства, вероятно, в этом случае только по знанию своему грамоты, да по примерной своей «умеренности и аккуратности». Даже у меня в возке принадлежало ему лишь второстепенное место. Он сидел задом к кучеру, на чемодане моем, вместо скамейки, и только когда особенно уставал и хотел спать, Бурундуков уступал ему место, да и то большею частью лишь тогда, когда сам уже хорошо выспался.

Только по уходе горбуна, Каменев, опрокидывая стакан на блюдечко, заметил:

— Что ему, дураку, пужно было?

Мы выехали из города благополучно; но нас как будто преследовало проклятье горбуна. Зимняя дорога шла Волгой. Вскоре после того, как мы выехали, поднялся ветер, не особенно сильный, но со снегом, и поднял небольшую метель. Мы преспокойно задремали, никак не воображая, чтобы, едучи по льду реки, можно было, даже при сильной метели, сбиться с дороги. Но это именно случилось.

Когда кто то из нас проснулся и тотчас разбудил других, мы стояли над полынью. Ямщик не знал, что делать и где дорога. После долгих поисков, он решил, что мы не по той дороге едем, и повернул назад. Потом он еще раза два воротился и, наконец, с самым твердым убеждением объявил, что дорога найдена и что теперь остается до станции не больше половины пути. Спал он что ли, или ехал в первый раз, или по какой рассеянности потерял действительно занесенную снегом дорогу, но он сваливал всё на каких то проезжих в санях, которые видимо обошли его. Мы безпрестанно спрашивали его, скоро ли же, наконец, станция. Он отвечал всё, что сейчас.

Ночь была довольно темна, но скоро на снегу можно было рассмотреть чернеющие строения, а за ними белешую церковь.

— Это станция?

— Станция.

Не успели мы успокоиться на этом известии, как ямщик, повернувшись к нам, как то странно проговорил:

— А ведь это не станция.

— Так что же?

— Да я и сам не знаю.

Это был снова Ярославль, но ямщик, как Одиссей, вынесенный на родной берег, не узнал его. Мало того: он долго не хотел согласиться и с жандармами, когда те начали уверять его, что он обратно привез нас в Ярославль.

Когда он убедился, наконец, в этом, отчаяние его было невообразимо, и он и дорогой, и по приезде на почтовый двор не переставал изумляться своей ошибке и изрекать проклятия на встретившиеся ему сани и на каких то лепших, сидев-

ших в них. К досаде его прибавилось еще что-то в роде лихорадки: отыскивая дорогу, он вымок по пояс в сугробах и зазорах.

Горбун, вероятно, удовлетворенный нашей неудачной поездкой (оказалось, что мы плутали пять часов), смотрел уже кротко и помалкивал. Но для производства следствия явился почтосодержатель, какой то отставной офицер, и распорядился, чтобы с нами отправился провожатый с фонарем.

В утешение он сообщил, что и сам начальник губернии этой же дорогой ездит всегда и недавно еще застрял где то в зазоре.

На этот раз мы доехали до станции, хоть и тащились опять пять часов.

Если бы не это плутанье, по утру могли бы мы быть в Костроме, но были только в Нерехте, а Кострому проехали только в середине дня.

Я был уже сильно истомлен дорогою, потому что нигде не отдыхал; но мне хотелось сделать хоть половину пути, который казался мне бесконечным. Спутники мои мне надоели и опротивели; в голове была какая то путаница от неизвестности того, что меня ожидает; на сердце горько и одиноко; сны виделись все о свободе, да о бегстве, да о вас, а иногда и такие, что я просыпался от испуга. С самого отъезда из Петербурга и до Тобольска я вообще был словно растерянный какой и не мог ничего сообразить хорошенько, и все как будто что-то щемило мне сердце. Спать приходилось мне сидя, и это еще более утомляло меня. Протянуть ноги, значило только подвергнуть их холоду, И так, они у меня беспрестанно зябли, несмотря на толстые и теплые сапоги. Как ни старался я укрывать свои кандалы, они быстро холодели; холодели и кольца, которые, как когти, охватывали мне ноги, и ноги начинали ныть и тосковать.

Но мне хотелось ехать скорее, чтобы скорее добраться до места. Я лишь не надолго остановился в Вятке, чтобы пообедать, да написать письмо, которое ты и получила. Хозяйка дома, в котором помещается почта, видя, как я изнеможен, упрасивала меня остаться переночевать, а на ночь сходить попариться в бане. О бане, разумеется, нечего было и думать, потому что я не мог бы снять с себя брью при узких кольцах кандалов; но и ночевать, несмотря на явное желание и моих провожатых отдохнуть немного, я не хотел остаться. «Доеду хоть до Перми и там отдохну. Все-таки хоть половина первой части дороги будет позади», думал я, и так и сделал.

Утро Рождества встретили мы в только что отстроенной, сырой и холодной станционной избе. Горница была очень большая; везде от стен дуло; из окон тоже. Одиночные рамы в окнах дрожали и скрипели от жестокого ветра, который выл, как бешеный, около одиноко стоящего дома.

Это был праздник только для Каменева. Он мог разговеться и перестать завидовать мне, что я пью чай с молоком, когда случалось найти молоко. В горнице ярко топилась большая печь, и мы оттащили стол из переднего угла к ней, и тут напились чаю; с одного боку подпекала нас печка, а с другого обдувал ветер так, что пламя свечи на столе колебалось, и сало оплывало. Было еще темно.

В ночь этого же дня добрались мы, наконец, до Перми. Мы приехали туда часу во втором. Отдохнуть было уже решительно необходимо; у меня ломило

спину и все кости; ноги были, как онемевшие. Дорога становилась всё хуже и хуже; то ухабы, то снег по колена, то снег сдуло с дороги. В иных местах так было выбито, что я ехал с постоянно замирающим сердцем: вот сейчас ухаб! и каждый толчек экипажа отдавался резкой болью у меня в голове.

Во втором этаже пермского почтового дома было нечто в роде гостиницы: три-четыре просторных комнаты с узкими диванами по стенам и с голыми кроватями. Побоявшись клопов, я улегся на диване и проспал ночь, как убитый, несмотря на скованные ноги. Утром я чувствовал какое то дрожание во всем теле; вероятно, застоявшаяся кровь расходилась. Хотел было написать к тебе письмо, но у меня было какое то отупение в голове, и руки дрожали, как у горького пьяницы. Мне почему то думалось, что я получу здесь какуюнибудь весточку от вас. Спросил, не справлялись ли обо мне до моего приезда — нет. Утром увидал я, идет казак. Действительно, он справлялся, кто приезжие; но, собственно, мною никто не интересовался; значит — письма ко мне не было. Зашел на несколько минут бывший студент Петербургского университета, поляк, остановившийся тут же, рядом со мной. Он уехал из Петербурга до волнений в университете на службу сюда. Мне не понравился он, и самую фамилию его я забыл.

Из окна моей комнаты виднелась огромная пустынная площадь, вся покрытая снегом. Праздничный звон гудел, наводя еще более тоски, — и я торопил жандармов ехать.

Во всю почти дорогу от Вятки, чуть не на каждой станции, случалось слышать:

— Вот недавно из Варшавы двух провезли.

Или:

— Третьего дня ксендз проехал из Варшавы с жандармами.

В Купуре, где я был вечером в тот день, мне сказали, что тут провезли, одного вслед за другим, шесть ксендзов.

Тут меня еще более напугали дорогой. Отсюда то только и начинаются ухабы.

Это оправдалось как нельзя лучше. Безконечные обозы с чаями потянулись навстречу, и до самой Тюмени почти не прерывались. Дорога, действительно, была безпримерно выбита. Селения, правда, начинали смотреть несколько зажиточнее; не кидалась уже в глаза та голая, вонющая нищета, которая возбуждала тягостную тоску в Вологодской, в Вятской губерниях. Но за то горько и тяжело было от другого зрелища. Около каждой деревни темнели среди глубокого снега серые частоколы этапов. Но ранним утром около их ворот стояли бабы с калачами, с молоком для несчастных. Попадались партии ссыльных: скованные по четверо вместе железными наручниками, с заиндевевшими бородами, шли вперед каторжные; без оков, сзади, в жалкой одежке, в куцах, не греющих казенных полушубках, — отправляющиеся на поселение; еще дальше — дровни с бабами, с больными, с детьми, закутанными в разное жалкое тряпье. Солдаты и казаки шли, как пастухи за стадом.

Екатеринбург проехал я в три часа ночи с 27-го на 28-ое число. Я, вероятно, остался бы до утра, если-б брат Павел был в это время здесь; но мне сказали на почте, что он не приезжал.

О дальнейшей дороге до Тобольска нечего было и говорить, если бы с нами не случилось смешного происшествия, станции за две-за три от города Тюмени.

На этой станции мы рано пообедали, чем нашлось. Когда выходили садиться, ямщик, еще молодой парень, с круглым красным лицом и смелыми глазами, сделал нам упрек, что мы долго слишком проклаждались за чаем, что лошади не стоят.

— Ну, так поезжай скорей!

И, действительно, лошади помчались, как стрела.

— Не гони; пристанут потом, — станция длинная! — остававливал его Каменев.

Вдруг лошади остановились.

— Что такое?

— Где у вас ямщик то? — спрашивал мужик, стучась в затворенное окно. Оказалось, что ямщик слетел с козел и остался позади.

Когда он догнал нас, мы увидали, что он еле держится на ногах. Видно, на морозе разобрало его.

— Да ты, парень, пьян? Того и гляди, опять слетишь, да и повозку повалишь. —

— Пьян! так закачу, только держись.

— Легче, легче!

Он погнал опять, как сумасшедший. Возок трещал на ухабах.

На шестой версте лошади вдруг стали, как вкопанные. Как ни кричал на них ямщик и с козел, и слезши, они не делали ни шага вперед. Так простояли мы, по меньшей мере, четверть часа.

Бурундуков вышел из терпения и выскочил из возка.

— Ведь говорили тебе, чтобы ты не гнал? Вот стали теперь лошади.

Ямщик вдруг разразился самую скверною бранью. Его уже совсем разобрало.

— Оттого и стали, что ты гнал меня, — кричал он, чуть не к каждому слову прибавляя отвратительное русское ругательство, — ты и меня всего избил! Саблей меня в бок тыкал!

Он врал все это.

Шагах в двадцати виднелась крайняя изба только что проеханной нами маленькой деревушки.

— Что с ним толковать! — обратился ко мне Бурундуков. — Он пьян и как одурелый какой то. Надо спросить тут лошадей в деревне; эти не довезут, он их совсем загнал.

Из деревни кто то уже увидал, что с нашим возком что то случилось, и тут как раз подошло мужиков пять-шесть. Лошадей у них не оказалось. Ямщик, обрядовавшись слушателям, начал кричать с тою же бранью еще громче.

В каждом слове его выражалось то ожесточение, которое глубоко таит в себе наш простолудин против всякого, в особенности же против военного, начальства. В солдате он привык видеть не собрата своего, который несчастным случаем попал сам чуть что не в каторгу, а грабителя своего и притеснителя. Да, впро-

чем, и не из чего было вынести другой взгляд. Особенно жандарм должен быть ненавистен, по своему произволу, по безнаказанности.

Ямщик ругался и кричал, не умолкая. Он на каждом слове клеветал на моих провожатых.

— Они избили меня,—вопил он,—гнали во всю мочь. Только и кричали, что пошел, да пошел. С козел меня толкнули... А ты кто такой? — обратился он к Бурундукову, размахивая руками.—Генерал ты, что ли, какой? Ты солдат (и крепкое словцо)... солдат безштаннный (и опять крепкое словцо).

Бурундуков и Каменев объяснялись, между тем, с мужиками, и из этих объяснений оказалось, что в деревушке всего-то три двора, и лошадей нет.

— Надо съездить назад на станцию, за лошадьми. Помогите-ка ктонибудь отпречь пристяжную.

Мужики не двигались.

— Что же вы?

— Не замай братцы!—кричал ямщик.

— Что ж, наше дело тут сторова. Что ж мы?

— И то братцы.

Бурундуков пошел отпрягать лошадь.

— Нет, ты не смеешь отпрягать,—закричал ямщик.—Не дам я тебе.

Он рванулся было к нему, но свалился и едва приподнялся, скользя на обледенелом снегу дороги.

— Видите, как он пьян, — заметил Каменев мужикам.

— Точно, что маленько выпивши.

Но не успел Каменев отойти шага на два-на три, как они принялись наускивать ямщика:

— Не давай, паря, не давай!

Ямщик кинулся, и на этот раз удачнее,—да поздно. Вдвоем жандармы успели уже отпречь лошадь, и Бурундуков сел на нее верхом.

Тут то разразился наш ямщик.

В то время, как Бурундуков удалялся от нас назад, он напустился на Каменева, который, как и товарищ его — надо признаться — вел себя как нельзя лучше во всей этой истории.

Теперь ямщик дал другой оборот своим ругательствам.

— Ты кого везешь? — кричал он, всё с теми же неизбежными приговорами.—Ты секлетного везешь. Вот кого! Не генерала ты везешь, а секлетного. А в чем ты его везешь? Я, брат, законы знаю. Разве в этакой избушке секлетных возят? На это перекладная есть. А ты его проходной везешь?

— Молчи ты, когда с тобой не разговаривают,—пробовал кротко заметить ему Каменев.

— Не стану молчать! — еще громче голосил ямщик. — Секлетного-то ты в избушке в этой везешь? Ты кто такой? Жандар ты (словцо)... А сабля у тебя где? Захочу я тебе все рыло расхлещу. С секлетным ты едешь, а где у тебя сабля? А!... Жандар ты, а я плевать хочу на тебя. А пистолет у тебя где? Секлетного ты везешь... Секлетного или нет? А как же ты его без сабли везешь?

Каменев подошел к растворенной дверце возка и начал говорить со мной. Тут совершилось нечто совсем неожиданное.

Пользуясь, вероятно, тем, что жандарм не обращает на него никакого внимания, и подзадоренный мужиками, ямщик вдруг вскочил на козлы, крикнул на лошадей в источный голос, и лошади, вероятно, с испугу помчались. Я захлопнул поскорее дверцу возка и отворил маленькое оконце впереди.

— Стой! Буда ты? Остановись! Держи лошадей! — кричал я ямщику.

Но он ничего не слушал, размахивал кнутом, как сумасшедший, и только отчаянно ухал на лошадей.

— Что, плохо везу? Плохо? — восклицал он по временам. — Пристали лошади? А! Вот, как я на паре троих везу.

Ясно было, что он ничего не помнит.

Видя, что слова мои не помогают, я схватил его за пояс, потом за плечо, но толку никакого не было: он продолжал гнать все сильнее и сильнее.

Наконец уже, он как то неловко пошатнулся, неловко потянул возжи, и лошади круто повернули в сторону и уперлись в сугроб. Мы проскакали версты три.

Тут догнал нас Каменев верхом. Мужики испугались, видя, что может выйти плохо для них, и поспешили дать ему лошадь. Он с великим трудом усадил ругавшегося ямщика на козлы, сел с ним сам, и мы поехали назад, чтобы встретиться с Бурундуковым.

Замечательнее всего то, что когда, стоя около сугроба, ямщик опять принялся за ругательства и опять кричал: «ты секлетного везешь... Как же ты его в избушке везешь?» и проч., и когда я крикнул ему; «Да перестанешь ли ты ругаться?» он вдруг несколько присмирел, подошел к окошку, в которое я глядел, снял шапку и принялся оправдываться передо мной, называя меня: «ваше превосходительство». Не думайте, чтобы в этом названии, как и вообще в обращении ко мне, была хоть искра иронии.

Когда мы отъехали немного назад, и Бурундуков встретился нам в саних с посланным со станции и с парой свежих лошадей, на подкрепление остальных, ямщик перепугался и, повидимому, совсем отрезвел.

Лошадей перепрягли, и он, извиняясь, стал просить, чтобы ему дозволили довести нас до следующей станции. Он и повез нас—уже тихо и смирно, и довез исправно.

Если бы мне в то время, как мы мчались только вдвоем с пьяным ямщиком, попался какойнибудь исправник или становой, он легко бы мог принять меня за беглого, улетающего от погони. Бандалы мои могли бы только утвердить его в этом предположении.

Вот самое интересное из происшествий со мною по пути от Петербурга до Тобольска. Затем стоит, только разве упомянуть, что мы четыре раза сваливались с возком и выбирались из него в одну из дверей, которая оказывалась обыкновенно на месте крыши. При этом, конечно, всегда почти надламывалась одна из оглобель, и в ближайшей по дороге деревне производилась чинка. Любопытно, что три последних падения с возком случились как раз в три последние дня моего пути к Тобольску—по падению на день. Одно окно разлетелось в дребезги, и мы забили его войлоком.

Мне не хотелось приехать в Тобольск ночью, и мы решили ночевать на последней станции. Здесь мы в'ехали на так называемую земскую квартиру, в опрятную, теплую и довольно просторную избу. Было еще не поздно. Напившись чаю, я принялся писать к тебе письмо, чтобы отправить его с жандармами. Они обещались доставить его аккуратно. Я не знал, где будут держать меня в Тобольске и допустят ли их ко мне, и потому лучше было сделать дело заранее. Тут же решил я дать им на водку. Денег у меня, как ты знаешь, на руках не было. Вывести в расход по данной Каменеву книжке слишком много—мне не хотелось. Я еще не искусился опытом в этом отношении и думал, как бы не было потом каких придирок. Поэтому я распорол подкладку своей шапки, в которую вы зашили мне на всякий случай денег, и вознаградил жандармов довольно щедро. Они были, конечно, как нельзя более благодарны. Остальные, выпоротые из шапки деньги я, просто на просто, без всяких опасений и предосторожностей, положил себе в карман.

По мере приближения к Тобольску мне не раз встречались на станциях прозжие и оттуда, и из дальнейших мест Сибири. Все почти обнадеживали меня, что меня не ждет ничего ужасного, что со мною будут обращаться, как нельзя лучше, и проч., и я, признаюсь, несколько успокоился. Меня несколько смущало только то, что я—первый и единственный политический преступник, ссылаемый в царствование Александра II в каторжную работу. От подобных ссылок успели уже несколько отвыкнуть в Сибири, и, пожалуй, я буду поставлен в исключительное положение, которое, во всяком случае, неприятно, потому что возбуждает внимание, а следовательно, и более строгий надзор. Я знал, что в Нерчинском округе не осталось уже никого ни из декабристов, ни Петрашевского и сосланных с ним вместе трех его товарищей.

К счастью, того, что я предполагал, не случилось. Время все-таки сделало успехи, и я встретил здесь, вместо прежнего равнодушия или притеснения, более или менее искреннее сочувствие и все возможные удобства.

Привычка ли к дороге, или все-таки приятное чувство, что в Тобольске узнается хоть что нибудь решительное, только я не чувствовал уже того утомления, что в Вятке и Перми. Я уснул очень хорошо, но проснулся довольно рано, и мы почти тотчас же отправились.

Двадцать верст, считавшиеся от станции, скоро остались за нами, и вот забелели на горе здания и церкви Тобольска. Было около десяти часов.

VII.

Месяц в Тобольске.

Жандармам была дана из Петербурга бумага только в Тобольский приказ о ссыльных, но я настоял, чтобы ехать прямо к губернатору ¹⁾, который мог бы,

¹⁾ Тобольский гражданский губернатор Виноградский за послабления, оказанные в Тобольске М. И. М.—ву, впоследствии был уволен со службы и предан суду.

как мне казалось, распорядиться сам, куда поместить меня. К тому же день был воскресный, и в приказе, верно, никого не было.

Мы остановились у нового тесового крыльца с таким же навесом, пристроенного к казенному дому. Бурундуков пошел с пакетом; но тотчас же почти возвратился и сказал, что губернатор пакета не принял и приказал отвезти и пакет, и меня в приказ.

Губернаторский дом стоит в нижней части города. Теперь нам пришлось подыматься на высокую гору, где белели здания присутственных мест, собор, кажется, гимназия или семинария. Там же помещался тюремный замок и приказ. Поднявшись по отлогому, но длинному откосу горы и миновав памятник Ърмаку и будущее мое помещение — острог, мы, наконец, достигли и до приказа о ссыльных, небольшого и грязноватого здания, куда я уже пошел прямо вместе с обоими своими спутниками.

Отворив первую дверь из темного и грязного корридора, мы как раз очутились в одном из отделений приказа. Тут была и канцелярия, и прихожая вместе. Стояли канцелярские столы и близ дверей — вешалке для теплой одежды.

Против ожидания, в приказе не было пусто. Там было человек десять, повидимому, служащих тут чиновников. Это можно было заключить разве, по тому, что некоторые из них писали, некоторые расхаживали, как дома, с развязностью хозяев этих грязноватых мест, и все обступили меня с распросами, с предложениями погреться у громадной железной печи, которая, как ад, пылала в углу, или сесть, или покурить. Но если бы судить по одежде, их никак бы не принять за чиновников. Такие жалкие костюмы можно встретить, да и то не всегда, разве в казарме, где помещаются ссыльные из бедных слоев общества. Продранные сапоги, продранные валенки, покрытые заплатами штаны, замасленные до последней степени сюртуки с оборванными пуговицами и продранными локтями, какие-то онучки на шее вместо галстука, какие то странного покроя (и тоже в дырах) одежды — не то ватные халаты, не то пальто, обличающие под широкими рукавами отсутствие хоть какой нибудь рубашки. Говорят, что приказные эти побираются гривенниками и даже пятаками от несчастных, проходящих через их руки. Оно и не удивительно. Кроме зверообразного воспитания, полученного большею их частью, они лишены всякой иной возможности добыть себе денег на существование. Последний лакей получает более лучшего из них, [а работы много. Мне невольно пришло в голову: если такая голь — управляющие судьбою людей, в число которых попал и я, то какова же голь должны быть управляемые. Я теперь сомневаюсь, чтобы и катержный согласился обменяться своим местом, платьем и делом с кем либо из канцелярских чиновников Тобольского приказа о ссыльных.

Ящик в мохнатой белой шубе вверх шерстью, привезший меня, вошел почти вслед за нами в канцелярию, попросил у одного из жандармов моих папирску и закурил ее у печки. Буря, как дома, он с таким сознанием своего превосходства смотрел на приказных, что они казались еще жалче. Когда кто нибудь из них заговорил с ним, он отвечал с таким достоинством, что заговоривший как будто еще более умалился и чуть не начинал заискивать его расположения. А, между тем, этот ящик ждал от меня гривенника на водку.

Кто то из приказных, более приличного и опрятного вида, побежал к управляющему приказом с пакетом и известием о моем приезде. Прошло минут двадцать, пока он возвратился и объявил, что управляющий скоро будет сам: надо подождать. Я прождал еще минут десять. Тут пришел еще какой то посланный и сказал, что управляющий не велел ждать его, а приказал отвезти меня в тюремный замок.

Поехали. До замка было не далеко, и мы скоро были уже у железных решетчатых ворот, около которых стояло и сидело с десятка баб, торгов калачами, молоком и пр.

Здание тюрьмы имеет довольно внушительный вид: оно ново, выбелено начисто и не напоминает унылые, полуразвалившиеся тюрьмы этапов, мимо которых я проезжал. Часовой, стоявший за решеткой ворот, дернул за звонок, проведенный в кордегардию; на звон его вышел с ключом дежурный старший и отпер перед нами завизжавшие на петлях ворота.

Тут тотчас очутился передо мной смотритель¹⁾ замка, толстенький, невысокого роста человек, с каким то сероватым липом и заговорил скороговоркой, раза по три повторяя почти каждое слово. Он чуть открывал рот, когда говорил, и так торопился, что надо было с напряжением слушать его, чтобы понять.

— Вещи ваши, вещи ваши посмотрите-с,—суетился он.—Жандарм, жандарм, выкладывай. Продерни, ящики, возок-то, возок-то.

Возок продернули из ворот во двор, довольно просторный, окруженный со всех сторон белыми стенами. Прямо против въездных ворот были другие растворенные ворота, проходившие под такого же почти объема, как и наружная часть острога, зданием о трех этажах. Справа и слева были, каменные белые стены, отделявшие главный двор от дворов разных отделов тюрьмы. И с той, и с другой стороны в этих стенах было по двое ворот.

— Выкладывай тут всё из возка, из возка!—торопливо распоряжался смотритель.

Жандармы вынимали мои пожитки и клали всё в кучу на землю.

— Всё вынимай! всё вынимай! А то тут ведь оставить ничего нельзя. Как раз растащут, растащут, анафемы. Войлочек то вынь. Окна то не сымаются ли?

И он распатывал окна, предполагая, вероятно, что и их могут утащить.

— Пожалуйте-с, пожалуйста-с в канцелярию... Ты побудь тут, покамест, покарауль,—крикнул он одному из жандармов.

Я не понимал, да и теперь не понимаю, зачем мне нужно было подыматься чуть ли не в третий этаж, в грязную и пустую комнату, именовавшуюся канцелярией. Каменев, пошедший со мной, предлагал смотрителю принять от него мои деньги, но он восстал против этого всеми силами и говорил о них, как будто это были раскаленные угли, до которых его рукам страшно прикоснуться. (Потом полицеймейстер разбрал его за это и велел получить от жандарма мои деньги). Он исчез

¹⁾ Смотрителя Тобольского тюремного замка З. И. Казакова не спас его формализм, о котором говорит ниже М. И. М.—в; по тому же делу о послаблениях „за бездействие и превышение власти“ он был предан суждению Тобольского губ. суда.

минут на десять; я походил из угла в угол, сидел и уже начинал, признаюсь, сильно злиться на эти проволочки, как смотритель вернулся.

— Пожалуйста-с, пожалуйста-с!—говорил он опять также торопливо.

Мы спустились.

— Пожалуйста-с за мной-с! Эй вы! берите, берите вещи! несите сюда, сюда!

Два-три не то казака, не то мужика, взвалили мою поклажу на плечи и понесли все за мной. Мы прошли в средние ворота, на так называемый кандалный двор; посреди его стояло невысокое здание о двух этажах (верхний, впрочем, больше похож был на чердак). Тут влево от ворот виднелась над дверьми крупная надпись славянскими буквами, какой-то текст. Это был вход в церковь. Двор, собственно говоря, обходил вокруг этого здания, лишь как корридор.

Мы повернули влево, потом за угол. Солдат отпер решетчатую тяжелую дверь. Мы вошли в темный, сырой и довольно зловонный коридор с тюремными дверями по одну сторону. Одна из этих дверей была перед нами распахнута, и я вошел в назначенное мне помещение.

Это была комната саженной в шесть квадратных. Она еле освещалась маленьким полукруглым окном, которое было ближе к потолку, чем к полу. По двум сторонам прилажены были к стене несколько покатые широкие нары. Стены были запотевшие и покрытые плесенью. Воздух спертый, пропитанный махоркой, сапожной кожей и прелью. На нарах помещались два арестанта—оба пожилые, небольшого роста. Один запивал себе что-то, другой сидел, свесив ноги.

— Вот вы в уголок тут, в уголок пристройтесь,—посоветовал мне смотритель.—А ты оттащи свою то лопать да подушку-то—крикнул он шившему в углу арестанту.

Уголок зарос весь зеленою плесенью.

— Нет, уж я лучше в середине помещусь,—заметил я,—там сыро слишком.

— Как угодно-с. Да их и вывести отсюда можно. Вот надо надзирателю надзирателю сказать.

Надзиратель, худошавый, старый казак, вошел вместе с нами.

— А впрочем, погодить можно; вы покамест, покамест не раскладывайтесь, Может, полицеймейстер прикажут вас отсюда перевести.

Вещи мои сложили на нары, я сел около них.

Тут вошел молодой караульный офицер.

— Вам угодно-с, угодно-с будет освидетельствовать вещи?—спросил смотритель.

— Нет, не нужно,—отвечал офицер, поклонился мне и ушел.

— У вас, может, чернильца есть?—спросил меня смотритель.

— Есть.

— Здесь ведь не позволено-с. В канцелярии-с только дозволяется писать, если что нужно.

— Мне нечего писать теперь, и она у меня далеко заложена. Потом об этом.

— Очень хорошо-с. Так вы изволите посидеть-с покуда здесь, а я к полицеймейстеру съезжу-с. Ты уж побудь здесь,—обратился он к надзирателю,—чтобы не беспокоили их, не беспокоили. Или понадобится что.

Я закурил папироску и стал ждать. Мне пришлось просидеть тут с полчаса. Я был так озлоблен, что я все еще как будто не на месте, что меня бесил каждый вопрос надзирателя. А он считал, кажется, своею обязанностью занимать меня, как гостя. Арестанты, сидевшие тут, как оказалось из его слов, были только подсудимые. Они то выходили из камер, то опять приходили. Вероятно, слух о новопривезшем «кандальщике» из благородных разнесся по всему отделению. Дверь ко мне безпрестанно отворялась, и то высовывалось любопытное лицо с обритой наполовину головой, то смело переступал порог, вероятно, более опытный ссыльный, и, чтобы иметь возможность постоять тут и взглянуть на меня (а может, и попользоваться какою мелочью), начинал какую нибудь пустяшную просьбу. Надзиратель едва успевал отделяться от этих посетителей, крича им: «Потом придешь! Что вы лезете сюда? Пошел вон! Не смей растворять дверь!»

Это не помешало ему уверять меня, что мне было бы гораздо лучше, если-бы я остался в его ведении, что для меня можно бы очистить «секретную» получше других и проч. Мои чемоданы заметно внушали ему уважение, и он рассчитывал, что, теряя меня, теряет очень выгодного жильца.

— Право, лучше бы вам здесь было, — шепнул он мне и тогда, когда явился смотритель с известием, что полицейм-истер приказали перевести меня в дворянское отделение,

Я, разумеется, не увлекся советом надзирателя. Если в дворянском будет не лучше, то ведь и хуже не может быть, — трудно, по крайней мере.

Опять понесли мои вещи по той же дороге. Мы вышли на главный двор, потом влево во вторые ворота, около которых выходил сюда узкой стороной с одним высоким, маленьким полукруглым окном флигель, где помещалось дворянское отделение. Под навесом неподалеку я увидел свой возок.

Смотритель, идя со мной, объяснял скороговоркой:

— Вы покамест вдвоем-с, вдвоем-с будете. Один молодой там человек. Тоже-с из дворян. Номеров теперь свободных нет-с. А вот-с, вот-с как партию отправим—вам отдельную можно будет дать с.

На небольшой продолговатый двор, куда мы вступили, флигель смотрел довольно длинным рядом таких же маленьких окошек и казался подслеповатым. У крыльца, на дальнейшем конце, стоял часовой около будки. Решетчатых дверей не было, а простые, и те не заперты. Вот уж и лучше, значит.

Смотритель просто толкнул из сеней дверь. Она тяжело растворилась, притягиваемая кирпичем на веревке, вместо блока, и меня охватило удручивым теплом и масляным чадом.

Такой же мрачный (разве немножко лишь светлее) коридор с такими же окнами под потолком, как и в кандальном отделении, был передо мной. От грязных полов и отсыревших, покрытых темными пятнами стен он казался еще темнее. Притом том он наполнен был сероватым паром или чадом, и сразу я ничего не мог рассмотреть.

Двери номеров были и здесь лишь по одну сторону. Мне назначалась шестая дверь от входа.

Приход мой, сопровождаемый необычным здесь бряцанием цепей, возбудил,

конечно, любопытство моих новых товарищей. Из дверей выглядывали то мужчины, то женщины; два расхаживавшие по коридору арестанта, один в сером арестантском длинном до пят халате, другой в дикого цвета каком-то пальто, остановились посмотреть на мое лицо и на мои ноги. Откуда то слышались крики грудного младенца и, повидимому, новорожденного младенца.

В отведенной мне комнатке, которая была меньше шлиссельбургской, встретил меня мой сожитель, Станислав Крупский, как он мне тотчас отрекомендовался. Смотритель нас оставил.

— Вы меня застали за обедом,—сказал он,—не хотите ли вместе?

У него стояли на столе две оловянные тарелки с жирною бараниной и кашей.

Говорить по русски он затруднялся, и я предложил ему, чтобы он говорил по польски, а я буду отвечать по русски; но он мне сказал, что эхотно и хорошо говорит по немецки.

Это был молодой человек, двадцати трех-четырех лет, довольно хорошего роста, не полный, но очень крепко сложенный и очень красивый: прекрасные светлые глаза, прекрасные светло-русые волосы и свежий юношеский цвет лица. У него было то типическое выражение, которое можно заметить у большей части поляков. В губах и глазах какая то смесь горечи и ласковой хитрости; в улыбке что то полу-печальное, полу-злое, полу-насмешливое. На Крупском была почти новенькая синяя венгерка польского покроя, пестреный цветной галстух. Вообще, видно было, что он занимается собою даже посреди всей этой тюремной грязи.

У него тут было и кой-какое хозяйство: маленький самовар, маленький погребец, чемодан, окованный сундучек. Когда внесли вдобавок всё мое имущество, нам почти повернуться было негде. В комнате была одна только койка, и надо было устроиться какнибудь.

Крупский с услужливостью младшего брата принялся суетиться, передвигать чемоданы, развешивать по гвоздям шубы и проч. Он отстранял меня от всего, и я с благодарностью принял его услуги, потому что еле певелился от усталости. Ноги у меня ныли страшно.

Когда всё было приведено в некоторый порядок, я спросил Крупского, нельзя ли распорядиться насчет чая. Он прибыл сюда дней за пять до меня и успел уже привыкнуть ко всем злым обычаям.

— Здесь всё можно достать,—заметил он,—и вообще ничего, можно еще жить. Тут два человека для прислуги... Василий! — крикнул он, выглядывая в корридор.

— Сейчас, ваше благородие.

И немедленно явился пересыльный Василий Непомнящий, как оказалось потом, удержанный временно в остроге для услуг в дворянском отделении, невысокого роста черноволосый малый, лет тридцати пяти, с бойкими, несколько плутовскими черными глазами, с черными усами, с бритой бородой и сережкой в ухе. На нем была ситцевая рубашка, подвязанная тонким пояском; по бойкости и развязности движений, по изысканности фраз, он напоминал полового из трак-

тира. Он взял самовар Крупского и унес его греть в 'коридор. Впоследствии я познакомился с Василием ближе и очень жалел, что ему пришлось покидать острог раньше меня.

Когда мы сели за чай, к нам вошел высокий рыжий арестант с очень решительным, несколько как будто болезненным лицом. У него была густая круглая борода почти огненного цвета; половина головы, как я заметил, всматриваясь потом, была у него, верно, брита, но волосы успели на ней так отрасти, что сразу этого не видно было. Несколько наглые глаза его смотрели прямо, но они были несколько мутны.

— Что вам угодно?—спросил Крупский.

— Я к ним-с,—отвечал он, показывая на меня и кланяясь мне слегка.

Тут и я повторил ему вопрос, что ему нужно, но, вместо ответа, он сам спросил меня:

— Вы из Петербурга изволите следовать?

— Из Петербурга.

— В крепости изволили содержаться?

— В крепости.

— *Er will ein Paar Groschen haben*—мимоходом повернул Крупский, взясь около самовара. — *Wenn Sie kein Kleingeld haben, ich will ihm Etwas geben, und mag er wegsapazieren.*

— *Lassen Sie ihn sich ausreden*,—отвечал я.

— Я вам помешал с?—деликатно заметил неожиданный гость.

— Нет нисколько,—отвечал я.

— Позвольте спросить, в крепости плацмайором еще полковник Новоселов?

— Нет, теперь другой.

— Кто же-с?

— Не помню фамилии.

— А полковника Новоселова изволите знать?

— Знаю.

— Я им премного был обязан. Во время содержания в крепости. . . Добрейший, могу сказать, полковник.

А вы в крепости содержались?

— Точно так-с. Вы, верно, изволили слышать о моем деле? Я — Федор Иванов.

— Нет, не слышал.

— А тогда много было-с шуму в Петербурге. Смею вас спросить, вы в каторжную следуете?

— Да.

— По какому делу, если смею спросить?

— По политическому преступлению.

— Это значит, как я же

— А вы тоже политический?

— Как же-с!

Это меня заинтересовало.

— Мне это удивительно, что вы не изволили обо мне слышать,—продолжал он.— Кажется, про Федора Иванова все тогда известны были в Петербурге. В газетах было писано.

— Ну, уж извините! Я ничего не слышал. Да когда же это было?

— В шестидесятом году нас судили-с.

— А вы не одни?

— Нет-с, шайка нас была целая. Большие тогда грабежи происходили.

— А!

— Сквозь тысячу я прошел-с.

— Was ist das? Von was für Tausend spricht er?—спросил меня Крупский.

— Spitzruthen,—отвечал я.

— Точно так-с, шпирутенами был наказан,—подтвердил рыжий гость.

— Schicken Sie ihn doch weg!—повторил Крупский.—Wollen Sie Kleingeld?

Man muss mit die Kerls vorsichtig sein.

— Wozu?

Я, действительно, имел случай достаточно убедиться, впоследствии, что, за незначительными исключениями (к ним, впрочем, принадлежал и Федор Иванов), всякий грабитель, вор, убийца и разбойник, честнее и в сто раз чище душевно разных Путилиных, Горянских, Кранцов и Шуваловых. Мне часто представляется, как шли бы к их медным лбам черные клейма здешних бедных варнаков.

Мне, впрочем, с дороги и самому начинала уже несколько надоедать беседа с Федором Ивановым, хотя новость и привлекала меня.

— Вы, может быть, имеете еще чтонибудь сказать мне? — спросил я.

— Издержались в дороге-с... Теперь же надо будет скоро дальше идти. Вот на сапоги извольте взглянуть.

— Nun ja! — воскликнул Крупский, — обращаясь ко мне с укоризной. — Hab'ich's Ihnen nicht vorausgesagt Sie wollten mir nur nicht glauben... Haben Sie Kleingeld? Ich kenne schon gut diese Schurken.

Только что удалился Федор Иванов, пришел еще один господин, которого я встретил при входе прохаживавшимся по коридору, именно арестант в диком пальто, небольшого роста, поляк, с мягким голосом, с мягкими глазами и мягкими манерами. Он следовал чуть ли не за воровство какое на поселение с семьей,—с женой и двумя детьми. Это был один из ближайших моих соседей, по коридору (Федор Иванов помещался в кандальном отделении.) У него был чрезвычайно опрятный вид, так же как и у жены его и детей; но по всему было видно, что они очень бедны. Раза два, лишь намеками, он вызывался в течение моего соседства с ним на мои сигары,—и то делал вид, что хотел бы лишь попробовать. Потом он уже не заходил ко мне в комнату, и я встречался и здоровался с ним только в коридоре, где он обыкновенно прохаживался взад и вперед чуть не целый день.

На этот раз он вошел с величайшими извинениями попросить у Крупского на подержание чайного блюдечка.

В этот же день у меня было еще несколько посетителей, но уже другого рода. Председатель губернского правления, учитель словесности здешней гимназии,

два доктора, — это все были лица, с которыми я потом познакомился ближе и которым был обязан многими удобствами, смягчавшими для меня тюремное заключение ¹⁾.

Отдохнув немного, я вздумал пройтись по двору. Крупский надел красную конфедератку, и мы пошли вместе. Гулять во дворе позволялось сколько угодно, но только не из кандалного отделения, или, по крайней мере, не в кандалах. Поэтому я обращал на себя особенное внимание всех попадавшихся мне товарищей моего заключения из других отделений острога. Некоторые заговаривали со мной, хотя с заметной сдержанностью, будто с опасением... Дворы были почти пусты. Мы обошли их все.

Сожитель мой успел уже близко познакомиться с тюремными порядками. Он знал, где, кто и что помещается.

— Вот это кухня, — говорил он, указывая. — Можно все заказать к обеду, что нужно. Баба тут кухарка ходит ко мне. Суп будут вам давать больничный; ну, а жаркое или там что другое лучше заказывать. Она уже все купит. Телятину, рябчиков, что угодно, одним словом. — А вот здесь пересыльный двор, — говорил он, входя со мною под ворота, — тут мужское отделение; а вон с той стороны женское. Это баня; это столовая... Обедают они тут. Это, вон, пекарня.

Мы обошли двор справа от главных ворот (и, нашей стороны), потом обошли и двор слева.

— Вот это женское отделение; а вот прачечная и т. д.

Бельница помещалась в заднем флигеле главного строения.

Во дворе нам так мало попадалось людей, вероятно, оттого, что был порядочный мороз, и мы тоже воротились скоро. Зато в келье нашей становилось все теплее, и с покатога окна катилась довольно широкими потоками сырость. Кроме печи в самом номере, с топкою из коридора, почти против самой двери нашей, устроена была большая железная печь; труба которой перекидывалась

¹⁾ Председатель губернского правления, исполнявший обязанности вице-губернатора, Соколов, как видно из следствия, извещенный заранее о приезде М-ва и приказавший известить его, как только М-в приедет; — учитель гимназии — Плотников; один из докторов — Анучин, почти ежедневно посещавший М-ва. Все указанные лица, а также губернский прокурор Жемчужников, управляющий Комиссариатской комиссией полк. Ждан-Пушкин, учителя Тобольской гимназии: Каталинский, знавший еще в 1855 г. М-ва в Петербурге, и Знаменский, были преданы суду. Громкое дело „о послаблении, оказанном тобольскими властями государственным преступникам Михайлову и Обручеву“, возникло в апр. 1862 г. по доносу местного жандарма. О причинах, побудивших жандарма написать донос (местные сплетни и интриги) подробно, но едва ли беспристрастно, рассказывается в брош. „Материалы для будущей истории Сибири и ссылки Михайлова“, Лейпциг, Изд. Каспровича 1881 г., перепечатанной в журн. „Всемир. Вестник“ 1907, № 7. Для формального следствия была отправлена из Петербурга особая комиссия во главе с ген-майором Сколковым. Показания, данные при следствии указанными лицами, были напечатаны в той же брошюре, откуда перепечатал их М. К. Лемке, „Полит. процессы“, с. 76—83. Все административные лица были преданы суду. — Отчет о деле перепечатан из „Голоса“ (1866. № 80) в первом томе „Государственных преступлений в России“ В. Я. Богучарского, с. 236—242 (Штутт., 1903—русс. изд., с. 130—134). См. также статью Ставровгина „Сибирск. Вопросы“ 1908, № № 3, 4, 8 (О пребывании Михайлова в Тобольске).

через корридор. К вечеру эта печь топилась и нагревала нашу келью с избытком. К утру однако-ж становилось опять сыро и холодно.

Надо сказать несколько слов о моем сожителе. В первый же день рассказал он мне свою историю; но, признаюсь, я немного понимаю в ней и до сих пор.¹⁾

Станислав Крупский—австрийский подданный, бывший студент Краковского университета, а затем—сыщик при краковской, а потом при варшавской полиции. Он старался объяснить мне политическими целями поступление свое как в ту, так и в другую должность; но опять таки трудно было что нибудь положительное извлечь из его слов. Он говорил, что ему сам полицеймейстер краковский предложил поступить в его агенты, чтобы шпионить в университете; на это он согласился, предупредив об этом студентов. Он раз'езжал на счет полиции по разным городам и доносил о готовящихся демонстрациях, но всегда назначал сроком их день раньше или день позже. Приобретя доверие в краковском полицейском мире, Крупский предложил начальству командировать его секретно в Варшаву для узнавания, будто бы, подробностей по большому обще-польскому заговору, готовящемуся там, а, в сущности, для установления сношений между краковскими и варшавскими академиками, то есть студентами. В последнем пункте Крупский сбивался: раз он говорил, что ехал именно с помянутою целью; в другой, что он был послан для устройства пересылки оружия; третий раз—опять наоборот. Если он говорил правду в том или в другом случае, то мне удивительно только то, что человек с таким невежеством в политических вопросах и незнанием даже позднейших польских происшествий мог быть на что нибудь полезен польским патриотам. Он был даже не настолько хитер, чтобы обманывать

¹⁾ Инстинктивное недоверие Михайлова к своему сожителю оправдалось на самом деле. Из сохранившихся дел о Крупском в III Отделении видно, что Крупский был довольно темною личностью, не брезговавший никакими средствами, чтобы выгородить себя и доставить себе благополучие. Если отбросить благородные прикрасы Крупского в рассказе о себе, то сведения, сообщенные им Михайлову, совпадают с сведениями, имеющимися в деле о нем (1 эксп. № 152—1861 г.). Он беззастенчиво вымогал деньги от австрийской и варшавской полиции, составляя и расклеивая по улицам воззвания, разсылая анонимные письма с угрозами и донося о несуществующем тайном обществе, для которого он сам составил устав. Нечего и говорить, что Крупский не имел никакого отношения к политическим обществам. В 1863 г. Крупский бежал с места поселения, но был пойман в Пермской губернии, и, для своего спасения, пытался запутать в политическое дело никого другого, как Михайлова, наговорив на него всякого вздора. По его словам, Михайлов, находясь вместе с ним в Тобольском остроге, „открыл ему, что в России существует общество под названием „Центральный комитет русского народа“; устав этого общества составлен людьми, имеющими влияние на молодое поколение, в числе коихна ходится он, Михайлов, Писарев [?!] и Чернышевский. Общество это имеет целью сделать в России республику по примеру Соединенных штатов в Америке. Между прочими разговорами Михайлов с сардоническою улыбкою сказал: „августейший дом следует выслать гулять и мотать деньги на родину к немцам“. По словам Михайлова члены общества будут граждане, чиновники, офицеры, разумеется молодого поколения, а также и мужики; последних необходимо к тому приготовить посредством сочинений и прокламаций, печатаемых в Петербурге, Москве и имеющих печататься в Казани. На возражение Крупского, что масса простого народа предана государю и что общее восстание не возможно, Михайлов отвечал: готовится тысячелетие России, ожидают манифеста, мы постараемся, чтобы

долго варшавскую полицию, хотя этим он хвалился очень. Вообще, в каждом рассказе его главным пунктом было то, что он мог отлично жить на счет полиции, раз'езжать по театрам и гульбищам, тратить денег, сколько вздумается, и проч.; а что именно сделал он, этого-то и не выходило из его рассказа. Он говорил только, что старался отклонять внимание полиции от действительных движений своими выдумками: сочинял и представлял ей речи мнимого тайного общества, наклеивал на улицах самим им написанные плакаты и потом указывал на них и т. д.

Я любопытствовал потом посмотреть в Тобольском приказе его статейный список. Решение судебной комиссии подтверждало его слова и прямо называло его вину—составлением фальшивых доносов. Между прочим, там упоминалось о посланных Брупским безыменных письмах к пяти главным сановникам Варшавы, с целью устрашить их готовящимся, будто бы, большим уличным мятежом и заставить удалиться из Варшавы. Брупскому, как он говорил мне, предложили на выбор: просидеть четыре года в крепости и быть переданным Австрии, или отправиться в Сибирь на поселение. Он выбрал последнее.

Вообще, он произвел на меня не совсем приятное впечатление. Не говори уже о его крайнем неразвитии умственном, я не заметил в нем никакого политического, не то что фанатизма, но даже просто, энтузиазма, свойственного такому возрасту, и мне никак не верится, чтобы в таком человеке могло быть хоть зерно того, что составляет сущность характера и действий Конрада Валленрода. Временами он пел патристические песни, но они выходили у него не выразительнее какойнибудь «Ваньки—Таньки». За то с особенным жаром певал он

его не было и чтобы ожидающие остались обманутыми в своих надеждах; готовится [?] освобождение крестьян, мы представим его крестьянам в таком виде, чтобы остались им недовольны; мы постараемся убедить солдат, что служба их тягостна, что телесное наказание оскорбительно, чтобы сделать из них партизанов“.

Как ни отстранялся Михайлов от Крупского, но, очевидно, он кое-что рассказывал ему о своем деле и о прокламации „К молодому поколению“. Из этих то разговоров Крупский и пытается создать целый донос. Далее в своем показании он уже злобно клеветает на Михайлова. Ниже (стр. 132) Михайлов говорит о денежной помощи, оказанной им Крупскому из жалости к его бедственному положению. Крупский же показывает, что Михайлов, дав ему 75 руб., предложил отправиться далее не на перекладных а с партией, чтобы распропагандировать солдат и арестантов. Обо всем этом Крупский будто бы хотел все рассказать тогда же тобольским властям, но побоялся, „так как Михайлова все принимали с энтузиазмом, давали ему обеды и обвивали кандалы [?!] цветамп“.

Вздорные показания Крупского вызвали недоверие Казанской Следственной Комиссии, куда его препроводили; недоверие усугубилось справкой о прошлой деятельности Крупского, и он, в конце концов, сознался, что все им сказанное—выдумка. Вместе с тем, он подал в комиссию заявление, в котором умолял „позволить ему действовать“ в пользу русского правительства в качестве шпиона. „К сожалению—писал он—я слишком мало знаю, а то не задумался бы ни на минуту все высказать. Родного отца и того не покрыл бы молчанием“. „Позвольте мне действовать, примите услуги мои, попробуйте меня“—писал он в этом заявлении. Однако, горячие просьбы не принесли желанного результата. Крупский с надбавкой наказания за побег был снова отправлен в Сибирь, откуда ему в 1866 г., кажется, удалось бежать в Австрию.—См. „Моск. Вестн.“ № от 25 августа 1868 г. (Письмо Ст. Крупского). (Дело 1 эксп. № 23, ч. 214—1863 г.)

глупые немецкие тривиальности, аккомпанируя себе на гитаре, которую купил в Тобольске на последние свои деньги.

Крупский предлагал мне свою постель, но мне совестно было отнимать у него привычное место, и потому я постлал на полу бывший у меня войлок и подушку, и сиденья из возка, и лег, прикрывшись полушубком. Таким образом, между койкой и моим ложем оставалось только такое местечко, чтобы с осторожностью пройти одному человеку. Я улегся очень рано, не для того, чтобы спать, но хоть немного расправить разбитую спину. Но большой отрады мне не было: я с каким-то болезненным напряжением думал о том, как бы это было хорошо сбросить с ног кандалы, снять с себя штаны и чулки и вытянуться в опрятной постели. Крупский сел на постель и рассказывал свою историю. Я только по временам делал ему вопросы.

Вот прошла проверка. В нашу полуотворенную дверь заглянули юркий смотритель, караульный офицер и солдат с ружьем, и пошли дальше. Сосчитавши арестантов, они удалились. Мало по малу в коридоре прекращались шаги и разговоры; все утихало, только грудное дитя кричало болезненным голосом, да шелкали временами дрова в затопленной на ночь железной печи. По мере того, как все угомнялось у нас, все слышнее и слышнее слышались шаги солдата под нашим окном. Крупский говорил тихо, я слушал вяло, полудремля, и только вздрагивал, пока не привык, когда с покатоного подоконника вдруг сливалась быстрым ручьем на пол накопившаяся вода.

Вот как весело встретил я новый тысяча восемьсот шестьдесят второй год.

Я думал скоро уснуть, когда мы погасили свечу (здесь не требуется теплить вочник, хоть и следует по закону), но и это мне не удалось. Только что в комнате нашей водворилась тишина и темнота, в углах поднялась шумная возня мышей. Не то, чтобы я боялся их, но одна мысль, что мышь может забраться ко мне под полушубок или разгуливать по моей подушке, способна была не дать мне заснуть до утра. Я уже обрекал себя на бессонную ночь. Мыши возились все больше. Я попробовал пугнуть их, ворочаясь и гремя цепями; но они, видно, были тут, как дома, и угомнялись разве на минуту. Сколько ни старался я не думать о них, это мне не удавалось. При том они так постоянно напоминали о себе. Я слышал их быстрые шаги по полу почти у себя под носом. Надо было зажечь свечу, что я тотчас и сделал.

Крупский еще не спал и предложил мне поменяться местами.

— Мне все равно, — говорил он, — я сейчас же усну, хоть они у меня на лице сиди.

И точно, не успели мы улечься каждый на новом месте, как он заснул с легким храпом.

Утром к нам явилось не мало поздравителей с новым годом. Прежде всего пришел какой то солдат с трубой и принялся с великим усердием трубить перед нашею дверью. Потом наша коридорная прислуга: Василий Непомнящий, в новой цветной рубаше, гладко выбритый и обильно напомаженный коровьим маслом, и Иван, товарищ его, с большой окладистой русой бородой, несколько вялый на

вид, с голубыми кроткими глазами и очень приятным лицом, тоже в рубашке, хоть не столь элегантный и не так тщательно причесанный. Голос этого Ивана и его манера говорить напоминали чрезвычайно Огарева. В самой походке, приемах и даже отчасти в лице было много сходного с Николаем Платоновичем. Он расположил меня к себе больше, чем Василий Непомнящий, имевший вид опытного и ловкого дворового, хотя Иван, как потом оказалось, был вовсе не так интересен. Иван был москвич.

Поздравив с праздником, Василий обратился к нам с вопросом, не из нас ли кто обронил в коридоре двенадцать рублей бумажками. Крупский еще вчера, ложась спать, хватился денег, и нигде не мог их найти. Больше у него и не было, и потому понятно, как он обрадовался честности Василия Непомнящего и его находке.

За служителями пришел с поздравлением надзиратель нашего отделения, из казаков, невысокого роста, косой, с редкими, вьющимися черными волосами, тихий, смирный, с каким то женским голосом, с тихим приятным смешком, вообще, на сколько я узнал его потом, человек очень добрый и хороший.

— Geben Sie ihm Etwas von Kleingeld—заметил мне Крупский, вынимая и сам деньги из портмоне. — So ein Rubel ungetähr.

— Не следовало бы брать с вас, господа, отвечал он,—да человек то я семейный. Благодарю вас низайше. Желаю вам всего наилучшего.

Поздравления и этим не окончились.

Б нам влетел господин в форменном сюртуке с красным воротником, с грубым, худошавым лицом, мутноватыми серыми глазами и почтительно-подобострастною улыбкой под густыми рыжеватыми усами. Он ловко отправил к себе под мышку черную мохнатую папаху, расшаркался и протянул мне руку.

— С новым годом, с новым счастьем, Михаил Ларионович... Так имя и отчество, если не ошибаюсь?

Я кивнул головой.

— Мне жандармы ваши сказывали. А я-с имею честь рекомендоваться, — помощник здешнего смотрителя, Константин Иванов сын Подетаев... Если что вам будет угодно, извольте только мне сказать. Вот с ними мы уже знакомы. С новым годом, с новым счастьем, пан Крупский.

— Auch Diesem? — спросил я Крупского, видя, что он опять взялся за портмоне.

— O, durchaus!—отвечал Крупский, узнавший уже все обычаи острога.

— Благодарю вас, господа. Чувствительнейше меня обязали. Позвольте присесть отдохнуть и выкурить папиросочку.

Его, впрочем, тотчас же кликнули; но он минут через десять явился с известием, что полицеймейстер приказал снять с меня кандалы ¹⁾.

¹⁾ Снятие кандалов и посещения М-ва посторонними лицами поставлено было в особую вилу тобольским власям и, в частности, полицеймейстеру Кувичинскому, преданному также суду, за превышение власти. В своем показании Кувичинский говорит, что не помнит об отдаче приказа снять с М-ва кандалы, „по не отрицает, что мог и отдавать, уважая в преступникз дворянскою сословие, к которому он прежде принадлежал“.

Принесли большую гирию с весов во дворе, молоток и нож,—и уж потрудились же с петербургскими заклепками! Константин Иванович сел на кровать, курил папиросу и представлял из себя руководителя этой операции. Но, надо признаться, руководство его мало помогало, хоть он очень выразительно говорил:

— Правей, анафема! Как ты бьешь? А!

Не раз он порывался и сам приняться, но я его останавливал, говоря, что арестант какнибудь разрубит же заклепки, как ни мягко их железо, а что торопиться некуда. У него заметно дрожали руки.

Сначала над ногами моими трудился Иван. Он раз тридцать ударил молотком по ножу и сделал лишь чуть заметную надрубку на заклепке. Потом пришел косой надзиратель и, посмотрев, сказал:

— Эх, не так! Давай сюда. Я это лучше сделаю.

Но тоже ничего не сделал, только вспотел.

— Дозволите мне-с!—предложил свои услуги Василий Непомнящий.—Мигом разобью-с. Дело знакомое.

— Ну, валий!

Но и Василий, несмотря на свою опытность, должен был взмахнуть молотком раз по двадцати над каждой заклепкой, прежде чем они разлетелись.

Константин Иванович, вероятно, успевший надумать во время этой работы, принялся врать немилосердно. Он утверждал, что если бы не он, с меня кандалов не сняли бы, что он выставил перед полицеймейстером всю незаконность и бесполезность такого, «можно сказать, тиранского обращения» со мной.

— Если-б был порядочный человек смотритель у нас,—продолжал он,—а то такая скотина, дурак. Вместо того, чтобы раз'яснить все, как следует, полицеймейстеру, он только и знает, что глазами хлопает. Должен бы, кажется, понять, какой вы человек, Михаил Ларионович. Вот хоть бы я... Я теперича вижу, какие вам люди вистуют. Вчера же вице-губернатор ¹⁾ заезжал к вам, и прочее. Как же я то не стану вистовать. Это надо, разве, таким олухом быть, как наш Захарка...

Смотрителя звали Захар Иванович.

Так рассуждал Полетаев довольно долго, пока не пришел сам Захар Иванович и не сказал, что меня требуют в приказ о ссыльных.

— Вот вы с'ездите с ними, Константин Иванович.

— Кстати, у меня кошева готова.

И мы отправились в его кошеве.

На этот раз приказ представлял очень унылое зрелище. Сени и корридор, накануне совершенно пустые, были теперь битком набиты. Мужчины и женщины, в кандалах и без кандалов, но, большею частью, в арестантских шинелях, толпились тут. Это была пришедшая в то утро партия ссыльных. Кто стоял, кто сидел на полу с усталю; тут были и дети — и грудные, и уже умеющие ходить. Мы пробрались сквозь толпу к дверям и вошли в ту же комнату, что вчера. И она была полна народом. Бабы сидели тут, поближе к печке, с детьми в руках, под полу-

¹⁾ Председатель губернского правления Соколов, исполнявший обязанности вице-губернатора.

шубками. Все остальные стояли ряда в три, ожидая вызова. Шел прием их и проверка по статейным спискам. Посредине комнаты стояла мера для роста. Оборванные чиновники скрипели перьями за всеми столами.

Каких выражений не было на лицах этой тесной толпы ссыльных—от спокойствия до страдания, от робости до наглости, от какого то подобострастного смирения до дерзкой гордости, от плутовства до честного и прямого взгляда, от злобы и ожесточения до тихой доброты. Лица были большею частью утомленные; особенно жаль было смотреть на женщин. Кто был в кандалах, на том они сияли, как серебрянные: отчистила их дальняя дорога; у кого была подбритая с одной стороны голова, те были повязаны кое-какими тряпками.

Управляющий приказом, недавно назначенный сюда из Петербурга, некто Фризель, маленький, коренастый и плотный человек, с какой то бычачьей головой и бычачьим выражением в лице и выставленным вперед лбом, как будто он хочет бодаться, стоял перед строем «несчастных» с бумагой в руке; около него еще какой то чиновник, и тут же два солдата или казака.

— Три с половиной вершка,—воскликнул приказный у меры.

Из меры вышел старый «кандалщик» в заплатанном полушубке, со сморщенным лицом, с большими гноящимися глазами, не твердый на ногах.

— Сюда!—отрывисто произнес управляющий.

Старик стал перед нами.

— Клейма есть?

И управляющий посмотрел в список.

— Посмотреть, целы ли клейма у него?

Не то солдат, не то приказный какой стащил с головы старика тряпичную повязку, поднял свалившиеся на лоб, свалившиеся волосы.

— Не видать ничего,—произнес управляющий отрывистым холодным голосом,—подправить клейма. На щеках покажи!

Старика повертывают за голову сначала одной щекою, потом другою.

— Клейма подправить!—громко распорядился управляющий. На лбу и на левой щеке. Пошел!

Ссылный отходил.

— Митрофанов, Андрей!—возглашает управляющий по списку.

— Здесь!—раздается в толпе, и выдвигается Митрофанов.

— В меру!

— Не подгибай колен. Стой прямо! Вершок и три четверти.

— Клейма стерлись. Подправить клейма!

Вот какие сцены застал я, войдя в канцелярию приказа о ссыльных.

Глядя на тупую, деревянно-полицейскую фигуру управляющего приказом, слушая его барабанный голос, так отчетливо распоряжающийся, я невольно вспомнил, как смотрительша только на предпоследней станции к Тобольску расхваливала мне его. Она сообщила о его недавнем приезде и называла не иначе, как «милый человек». Ведь, может быть, он и в самом деле милый.

— Потрудитесь подождать немного, monsieur (!) Михайлов!—обратился он ко мне бычачьим своим лбом, когда провожавший меня Константин Изанович, вдруг

принявший самый униженно-подобострастный и испуганнейший вид, доложил ему.

Я присел на ближайший стул.

— Айбетов Ибрагим!

— Здесь.

— В меру.

— Два вершка ровно.

— Клейма есть! Пошел!

Таким образом, было принято еще человека три.

— Пожалуйте сюда, monsieur Михайлов, в присутствие.

Собственно говоря, мне решительно не зачем было ездить в приказ. Управляющий спросил меня только (на плохом французском языке), не родня ли я какому то Михайлову, действительному статскому советнику и камергеру; сказал, что мой статейный список и указ Сената еще не получены; что, поэтому, мне нечего еще торопиться подавать просьбу об отправке меня далее не по этапу, с партией, а одного, на свой счет, и с любезностью, достойною действительно «милого человека», присовокупил, что «все, что только зависит от него, будет сделано по моему желанию».

Я отправился назад и встретил своих жандармов. Они зашли потом ко мне и выражали, кажется, неподдельное удовольствие, что видят меня в своем платье и без кандалов. Я поручил комунибудь из них зайти ко мне еще раз перед самым отъездом за письмом к тебе. Ты его получила.

В этот день у меня было еще больше посетителей, чем накануне; что бы ни привело их ко мне—действительное ли сочувствие, или простое любопытство—я был рад большей части этих посещений. В сочувствии некоторых я не могу сомневаться, и у меня, вероятно, сохранится навсегда теплое благодарное чувство к этим лицам. Во все время моего пребывания в Тобольске я пользовался самым дружеским, почти родственным вниманием многих. Мне не давали ни скучать, ни чувствовать какоенибудь лишение. Я был буквально засыпаем журналами, книгами; мне присылали со всех сторон всевозможные газеты в самый день получения почты; справлялись о моем деле и в приказе, и у губернатора, и во врачебной управе; предлагали мне отправлять письма. Каждое утро к чаю являлись превосходные сливки, разное печенье, к обеду—жаренные рябчики, всякие сласти, сыр, масло, наливки и т. п.

Обо мне не забывали ни на один день. Я решительно не мог отказываться от этих «подаваний», потому что, в большей части случаев, не знал, кого и благодарить. Крупский был чрезвычайно удивлен такими знаками общего сочувствия ко мне и говорил, что ему воображалось, будто в Сибири все в роде нашего помощника смотрителя. Особенно поразило его то, что в этот день под вечер, когда мы сидели с ним в полумраке, к нам вошла дама, привезшая мне букет цветов, вместо поздравления с новым годом ¹⁾. Сибирский букет был не пышен:

¹⁾ Вероятно, директрисса тобольского тюремного комитета Пиленкова, принимавшая впоследствии у себя М-ва в гостях. Относительно ее Сенат постановил „предоставить усмотрению министра внутренних дел—может ли она оставаться в звании директриссы комитета“

твоздики, герани, мирты и несколько полуразвернувшихся китайских роз; он был, конечно, приятнее мне, чем в иное время и в ином месте самые красивые и дорогие цветы. Я суеверно сберег несколько листков и лепестков его, как светлое предвестие, что, может быть, не весь этот год будет так темен для меня, как его начало. Цветы нашли меня в тюрьме; неужто любовь и дружба не найдут меня в ссылке... ¹⁾

Доступ ко мне был не труден. Следовало, правда, иметь для этого записку от полицеймейстера; но полицеймейстер, круглый как шарик, маленький человек самого не полицейского вида, едва ли кому отказывал. Захар Иванович был большой формалист и без билета никого не пропускал, если не проникался благовеиным страхом перед большим чином и высоким саном посетителя, или если посетитель или посетительница не были членами попечительного тюремного комитета. Но дело в других случаях обходилось и без Захара Ивановича. Или вытребовался его помощник, который считал обязанностью «вистовать» мне, потому что мне «вистуют такие лица», или, наконец, делалось еще проще. Ко мне ходили три студента Казанского университета, здешние, удаленные частью по последним беспорядкам, частью по истории с панихиде за Антона Петрова и убитых с ним вместе мучеников ²⁾. Один из этих студентов, обыкновенно, на вопрос дежурного ефрейтора у ворот, есть ли у него билет для пропуска, вытаскивал из кармана какую нибудь случившуюся тут бумажку, показывал ее, не развертывая, и командовал: «Отпирай!». И ворота перед ним отпирались. Раз на такой вопрос он ответил, что не только у него билет есть, но даже и особое предписание, и при этом вытащил из кармана целую пачку каких то бумаг. После этого его и спрашивать перестали. Одно время, правда, вдруг, начались особенные строгости в этом отношении, кажется, потому, что ждали генерал-губернатора Западной Сибири ³⁾. Часовые, обыкновенно расхаживавшие молча под нашими окнами, начали даже кричать по ночам: «слушай!». Но это продолжалось,

¹⁾ Люди. Петр. Шелгунова и Ник. Вас. Шелгунов. Записки свои М-в писал на Казанском руднике до приезда Шелгуновых.

²⁾ Антон Петров, руководитель крестьянского бунта в селе Бездне, Казанской губ. в 1861 г. При усмирении бунта около 100 крестьян было убито, а Ант. Петров 19 апреля 1861 г., по приговору военно-полевого суда, расстрелян. Расстрел безднинских крестьян вызвал одну из ранних студенческих демонстраций: в апреле 1861 г. студенты Казанского ун-та, вместе с воспитанниками Казанской дух. академии, отслужили панихиду по убитым крестьянам, причем проф. Шапов произнес речь. Священник, отслуживший панихиду, был сослан в Соловецкий м-рь, Шапов—арестован и отправлен в Петербург, а девять студентов, объявивших себя распорядителями демонстрации, исключены из ун-та и высланы из Казани. Из трех студентов, посещавших М-ва, двух можно установить из следствия: это были Семенов и Добродеев, 14 ноября 1861 г. высланные на родину в Тобольск под полицейский надзор. О казанской панихиде—см. Фирсов, „Русск. Старина“ 1889, № 4 и А. Попельницкий, „Голос Мин.“ 1917, № 9-10. О самой Бездненской истории, кроме современных статей в „Колоколе“ (№№ 100, 121, 125), см. И. Игнатович, „Мин. Годы“ 1908, № 5—6 (Волнения помещичьих крестьян с 1854 по 1863 г.); „Русск. Мысль“ 1911, № 4 (Крестьянский бунт в с. Бездна) и друг.

³⁾ Дюгамель Ал-др Осипович (1801-1880). С 1861 г.—ген.-губернатор Западной Сибири.

кажется, всего дня два. Получилось известие, что генерал-губернатор (он же был новый) отсрочил свой приезд, и строгости отменились, и «слушай!» умолкло.

С 3 числа, со дня моего рождения, я много раз и сам выезжал из тюрьмы. Дня через два, через три меня стали приглашать на обеды, и я, конечно, пользовался каждой возможностью хоть временно почувствовать, будто я на свободе. Но я скажу об этом потом, а теперь стану рассказывать последовательно. В недавно полученном мною письме твоём ты говоришь, чтобы я писал тебе все, как можно подробнее, где чихну, так и то бы тебе писал. Так не брани же меня за мою многоречивость. Подробности же, которые я буду приводить, мне кажутся довольно характерными в истории моих тюремных походов.

Надо рассказать еще кое что о нашем помощнике смотрителя.

Вечером в первый день нового года он явился к нам с странною просьбой.

— Господа, я с надеждой одолжиться у вас двумя вещами,—заговорил он, расшаркиваясь и ловко подбросив под мышку свою черную папаху.

— Что такое?

— Дочь пристаёт—ехать в маскарад. Так не одолжите ли... Хочу и я нарядиться... Не одолжите ли вашей фуражки, господин Крупский, и сюртука. Буду, знаете, этаким лихой поляк.

— Да будет ли вам в пору?

— А вот-с я и примерю сейчас.

Он мгновенно сбросил с себя свой форменный сюртук и натянул на свою ситцевую рубашку щегольскую венгерку Крупского, надел на бекрень его красную конфедератку и представился нам таким смешным, что мы оба расхохотались. Крупский, с усердием театрального костюмера, принялся оправлять его и учить, как придать себе более польский вид, как заправить штаны в сапоги, на который крючок застегнуть венгерку, как приличнее надеть *ezarke wolnoscі* и прочее. Помощник (как именовали обыкновенно вкратце Константина Ивановича) был совершенно доволен. Для полноты костюманужен был еще жилет, но у него такового не оказывалось. Пришлось ему и жилет дать. Он нашел, что весьма прилично было бы украсить жилет часовой цепочкой, и что, вообще, если он будет при часах, то никто, зная его скудные средства, его не узнает. Дали ему мы и часы. Он уж и переодеваться не стал, а только сверху накинул свою баранью шубу и удалился.

На следующее утро, возвращая нам с благодарностью маскарадный костюм, он утверждал, что если-б не дочь, ему бы и в голову не пришло бы наряжаться «на старости лет» и раз'езжать чуть не полночи из дому в дом. Это святочное обыкновение сохранилось в Тобольске во всей своей старинной силе даже в домах местных «аристократов».

— Ну, а весело было?

— А как же-с! В домах двадцати мы никак были. Везде графинчиком просят. Нельзя и отказать: сам хозяин вистует. Перепустил-таки вчера не много.

Об этом нечего было и рассказывать. Довольно было взглянуть на его измятое лицо и мутные глаза. Букет сивухи, принесенный им в нашу келью, обличал, что он успел уже и опохмелиться.

— И нигде-то меня не узнали, — продолжал он. — В одном только доме по дочери чуть не догадались, потому что она была татаркой, и как малого роста, так приметно... Господа! не откажите какнибудь почтить меня своим посещением, с семейством моим познакомиться. Вы вот по двору изволите гулять, так милости прошу ко мне. Во всякое время рад. Я ведь не то, что наш смотритель. Что же, и хотите от какогонибудь солдата? Конечно, я сам, по несчастию, тер эту лямку, так как я из кантонистов (он ударял на о).

И он принялся рассказывать нам свою биографию, как только вследствие несправедливости начальства попал в строй, а то был бы теперь совсем не то. Эту историю он начинал почти при каждом появлении своем к нам, точно так же, как и брань свою на смотрителя.

Захар Иванович, в свою очередь, приходя ко мне утром или заходя вечером, при проверке, пожелать спокойной ночи и приятного сна, тоже не упускал случая сказать своею невнятною скороговоркой, что «помощник дурной и дрянной человек».

Он не прибавлял к этому, что Константин Иванович вдобавок клянча и надоеда, но это я уже знал и без него, и старался поскорее выпроваживать помощника от себя, когда он являлся со своими рассказами.

Одним вечером маскарада он не удовольствовался и на другой вечер опять пришел просить тех же вещей, кроме венгерки. На этот раз ему нужен был полушубок. Он, видите ли, хотел изобразить собою «наемщика» в солдаты. Полушубок, предложенный Крупским, показался ему не довольно изящным, и он взял мой.

Смотритель, на третий день после моего приезда, завел с нами речь тоже о маскараде, но совсем другого рода—именно, о бане. Полицеймейстер дозволил нам, т. е. Крупскому и мне, съездить в торговую баню, если мы этого хотим. Мы охотно согласились и отправились в так называемой кошеве, саях в роде глубокого ящика, набитых до верху сеном, в котором можно было утонуть по горло. Нас сопровождал и служил нам баньщиком казак.

Крупский, кроме того, почти каждый день ходил по утру с косым надзирателем в город «на базар». Иногда они заходили и в трактир, где Крупский играл на бильярде. Пользуясь его частыми странствованиями в город, я давал ему разные поручения, и он закупал мне вещи, необходимые даже для тюремного хозяйства: самовар, погребец, чай, сахар и пр.

Я был очень рад, когда с отходом первой партии очистился один из номеров в нашем корридоре, и в него перевели Крупского. Теснота и беспорядок, и постоянное присутствие человека, с которым не имеешь ничего общего, успели мне надоесть в три-четыре дня. Мне при том хотелось иногда писать, но я должен был отказываться от этого: не было ни места, ни нужного для этого одиночества. Потом я начал в Тобольске роман, о котором говорил тебе при последнем свидании нашем у коменданта, и перевел последнюю сцену «Прометей», посланную к

тебе из Иркутска ¹⁾). Наконец, на пятый или шестой день по приезде, я стал полным хозяином своей комнатки. Она тотчас получила и более опрятный, и более порядочный вид. Простору, конечно, стало тоже больше. На рисунке, который ты видела, она, впрочем, все-таки кажется лучше, чем была в действительности. От сырости и чаду, забиравшегося из корридора, я не раз страдал сильною головою болью.

Уже по первому свиданию моему с управляющим приказом о ссыльных и по разговорам с знающими тобольские порядки посетителями мог я увидеть, что мне придется остаться здесь дольше, чем я предполагал. Не будь губернатор такой формалист, такая сухая приказная строка ²⁾ (я его не видал, но таков общий голос, оправдавшийся на мне), я, конечно, мог бы пробыть в Тобольске не более недели, много двух,—одним словом столько, сколько бы мне хотелось; а я прожил тут целый месяц ³⁾).

Как прошло это время, ты очень хорошо увидишь, если я тебе подробно опишу один день моей тобольской острожной жизни. Все они более или менее похожи были друг на друга.

Вставал я довольно рано, никогда не позже семи часов. Около этого времени, хотя бывало еще довольно темно, начиналось уже движение в корридоре. Прислуга носила дрова, воду, затопляла печи, мела полы. Подымались и соседи: слышались детские голоса, и Василий с Иваном (оба чрезвычайно нежные к детям) начинали ласково разговаривать с двухлетней девочкой пересыльного почтмейстера или казначея и шестилетним мальчиком поляка, о котором я говорил. Одна из моих соседок, следовавшая за мужем, разрешилась, сказывали мне, тут в тюрьме. Особенно забавна была девочка, не умевшая еще хорошенько говорить. Василий Непомнящий учил ее отвечать на разные свои вопросы, например: кто создал мир? Бог.—Кто был первый человек? Адам.—Где лучше, на воле или в тюрьме? На воле.

Как только я эжигал свечу, вставал и растворял в корридор дверь, Василий нес ко мне шапку и ковш с водой для умыванья, а Иван—самовар, всегда уже заранее поставленный. Иван был довольно молчалив, но Василий не мог пробыть минуты без разговора. Подавая мне умыться, он обыкновенно сообщал мне все тюремные новости.

— Партия сейчас пришла-с, ваше благородие; кандашликов ужасть как много.

¹⁾ Последняя сцена трагедии Эсхила „Скованный Прометей“ напечатана в „Соврем.“ 1863, т. 94, № 1—2, за подписью „Мих. Илецкий“ и перепечатана в „Полном собрании сочинений“ М. И. Михайлова, т. I, с. 17—20. Редакция П. Б. Яковлева—О каком начале романа идет речь, определить трудно. Отрывки из двух романов напечатаны в журн. „Дело“ 1869, №№ 3—4 „За пределами истории. За миллионы лет“ и 1870, № 1 („Вместе“); оба за подписью—Мих. Михайлов. Последний роман не окончен.

²⁾ Об уме здеднего губернатора может дать понятие следующий случай, бывший во время моего пребывания в Тобольске. Кто-то явился здесь в маскарад, сделав себе маску в виде свиного рыла, и повесил орден на шею. Губернатор принял на свой счет и велел выгнать гостя. Примечание М. И. Михайлова.

³⁾ Любопытно, что тобольским властям было поставлено в вину и длительное пребывание М. И. М-ва в Тобольске, пробывшего там 28 дней.

— К нам никого нет?

— Славу Богу, никого. И так уже у нас теснота.—Или он сообщал, что партия в этот день отправляется дальше. В первый раз, на такое извещение, я сказал, что пойду посмотреть. Василий на это заметил:

— Это что смотреть-с! Партия самая ничтожная. На заводы-с. И всего то сотни нет. А вот перед вашим самым приездом отправка была. Точно, что посмотреть стоило. Не мало уж я по острогам то шатался, а этого видать не случалось.

— Что такое?

— Пятьдесят семей тут гнали—по бунту... Без всякого, говорят, без суда. Баб-то, детей-то, девок-то! Шли не мало—из Казанской губернии, а все, видно, привыкнуть-то не могли. Пришли—вой, да стон стоит; пошли—еще хуже того. Старухи-то с причетами воют, бабы так голосят. Дети малые, на них глядя, тоже рев этакой подняли. Потому—раззорены, как есть в конец. Надзиратель наш смотрел, смотрел в воротах; да и ушел поскорее: слеза прошибла. Говорил я с ними тоже—вина-то их какая! Объявили фальшивую волю, они и пошли помещика спрашивать, как он, значит, царский манифест скрыл. Помещик за войском. Стали стрелять: убито сколько. А этих, кого в кандалы, кого так, да в каторгу. И суда говорят, никакого не было!). Ну, наш брат—уж точно, что есть за что. А то просто—сердце мрет, глядя-то. Я тоже могу это хорошо понимать, как сам из этого звания,—господский бывший.

В другой раз Василий рассказывал:

— Купчиха вчера-с из Тимени приехала. Овдовевшая, так на помин души двести рублей привезла содержащим, — сама и раздавала, по всем камерам ходила. Провизии тоже прислано ею много: трое саней с шапками одними.

Или:

— А у нас ноньче похороны, ваше благородие.

— Кто умер?

— Содержащий один. Его хоронить будут. Здоровенный был такой. В одной партии с нами шел. Так его назначили в отставку, а ему идти было не охота. Он и шил табак здесь, и поступил в госпиталь. Эта глупость есть тоже, ваше благородие. Оно точно, что совсем будет казаться, как хворой. Да он, видно, впервой. Не в меру, значит. А может и так, что попритчилось, и впрямь стал расхварываться. Вот ноньче хоронить будут.

После чаю я обыкновенно ходил гулять по двору. Он, вообще, не редко бывал пуст: разве производилась переключка партии, отправляемой в приказ, или партии, возвратившейся из приказа. Да иногда, после метели, бывшей накануне, арестанты занимались разгребанием снега и чисткою двора.

Редкое утро проходило без того, чтобы у меня ктонибудь не бывал. Если же не приезжал никто из гостей, то можно было поручиться, что придет надоедать или помощник, или турецкий капитан с поздравлением.

*) Вероятно, речь идет о партии бездннских крестьян—см. выше примеч. на стр. 110.

— Поздравляю вас, милостивый господин.

— Да с чем-же?

— С понедельником.

— Разве праздник?

— Нет, но это так у нас обычай.

Турецкий капитан этот—лицо замечательное и по своей горькой судьбе, и по правосудию нашего правительства. Я застал его уже в тобольском остроге, и когда уехал, он остался еще там, ожидая себе нового решения из Петербурга.

Это уже старый человек, ему шестьдесят лет, но по всему видно, если бы не тюрьма и не тюремные бедствия и лишения, он и теперь бы поспорил силой с любым молодым здоровяком.

Довольно коротко остриженные волосы у него на голове еще совсем черны, и только частью усы, да длинная и густая борода, вроде наполеоновской, поседел. Большие серые глаза его были бы очень хороши, так же, как и все остальные черты его лица, правильные и строгие, если бы на лице не лежало постоянно выражения слезной сиротливости и некоторого подбострастия, к которым приучило его скитание по тюрьмам. Оно же, верно, заставило его придавать своему голосу какую то льстиво-мягкую интонацию.

Привыкнуть ко всему этому было у него время. Семь лет проскитался он по русским острогам. Стоило посмотреть на него, чтобы видеть, как успел он обжиться в своем положении. Жалкая, изношенная одежда его показывала, что ему хотелось и в тюрьме сохранить хоть некоторые внешние признаки своего прежнего достоинства. Он постоянно ходил в какой то странной шапочке конической формы, собственноручно сшитой из синей крашенины и, вероятно, похожей на ту, которую он носил некогда, будучи воином. Серую арстантскую шинель он тоже как то особенно переделал, воротник подрезал и обшил его какими то синими и красными заплаточками, может быть, похожими на его прежний турецкий мундир или на народный черногорский костюм. Несмотря на службу в турецком войске, он славянин. Всё остальное в его одежде, за исключением шапочки и шинели, впрочем, тоже очень уже замасленных, представляло жалчайшие отрепья: и платок, которым он широко обматывал свою старую, черную, истрескавшуюся шею, и, в особенности, обувь. Трудно было сказать, что у него на ногах было. Он сам ешил что то странное из кусков войлока, обрывков кожи и холстины.

Дело его очень просто и тем ужаснее. В последнюю войну, когда военные действия происходили еще на Дунае, несчастный капитан перебежал к нам с шестью товарищами. Их взяли наши лазутчиками и пользовались их услугами. Когда театр военных действий был перенесен в Крым, и войска с Дуная двинулись обратно, турецкие перебежчики по какому то случаю отстали от армии. Догоняя ее, они попали в руки земской полиции. Военноначальники не позаботились снабдить их паспортами; по русски никто из них не знал ни слова, и их признали людьми подозрительными. Произвели немедленно следствие, понятно—как хорошо, представили в суд, и суд приговорил их, как бродяг, к вечному поселению в Сибирь. Они не раз поднимали дело о несправедливости их приговора, приостанавливаясь по дороге в губернских тюрьмах; но сначала, должно быть,

некогда было заняться ими по случаю военных хлопот, а потом и само принявшее их под свой кров военное начальство старалось затушить их протест, потому что само было во всем виновато. Шесть товарищей нашего капитана успели умереть в это время—кто в городской тюрьме, кто на эшафе, кто и среди дороги. Остался только он один, но не переставал вопиять о несправедливости. Вследствие этих то постоянных жалоб, он и попал в Тобольск так поздно. Приостанавливаясь в каждом городе и везде жалуясь или прокурору, или стряпчему, он дошел, впрочем, до Тамбова с этапом. Тут на его жалобы пришло распоряжение отправить его в Николаев, вероятно, потому, что он хотел представить объяснение Константину Николаевичу, который где то его видел. Из Тамбова его и препроводили тем же способом, по этапу, так как ему нечем было платить за подводу. В Николаеве посадили в острог, продержали что то долго, но ничего не спрашивали, никуда не водили, и вдруг в одно прекрасное утро перевели куда то в другой острог, в другой город, и отправили опять в Сибирь с партией преступников. И шел он опять год без двух недель до Тобольска. Здесь он опять поднял свое дело через прокурора. Из Петербурга пришло приказание, чтобы он всё изложил подробно (вероятно, в сотый раз) для вручения его объяснений в собственные руки его величества. Он и сидит теперь, и ждет нового решения, по которому, может быть, его опять препроводят по этапу в Петербург, а оттуда опять назад в Тобольск, если он не отдаст где нибудь на дороге Богу свою многострадальную душу.

Может быть, я что нибудь и не так рассказал, плохо понимая речь бедного капитана, в которой он мешал русские, сербские, немецкие и турецкие слова; но сущность то осталась в моем рассказе. О вопиющей несправедливости относительно этого несчастного говорили мне и прокурор, и председатель губернского правления¹⁾. Не подобного ли рода покровительство так вдохновляет славянофилов, когда они мечтают о том, как хорошо было бы, если бы наш двуглавый орел осенил своим могучим крылом все остальные славянские племена?

Приходя по утрам ко мне, турецкий капитан (так его звали все в остроге, и я не узнал его имени); поздравлял меня не только с понедельником, но со вторником, и со средою, и т. д. Принимаясь обыкновенно за свои жалобы, он всегда имел в виду попросить у меня или табаку, или чаю, или сахару. Он старался подвести разговор к своей просьбе исподволь, но после двух-трех визитов его я уже старался предупреждать его просьбы и избавлять себя от его долгих дипломатических рассказов. Эти рассказы, в которых можно было понять из десяти одно слово, способны были вывести всякого из терпения. Он не только каждую фразу повторял раза по два, но каждый факт принимался пересказывать в другой раз, едва успевши кончать. Я думал, не облегчит ли его, если он будет говорить мне по сербски, а я буду отвечать ему по русски. Но я не рад был, что предложил ему это. Он, действительно, начал говорить на своем языке, но каждое слово переводил на русский, а иногда и на турецкий, и сколько ни

¹⁾ Жемчужников и Сожолов.

толковал я ему, что по сербски понимаю его лучше, чем по русски, ничто не помогало.

Турецкий капитан был едва ли не самый смирный из всех жильцов нашего коридора; по крайней мере, он менее всего доставлял работы прислуге: обтирался всегда мокрой тряпочкой, служившей ему вместо полотенца, а не умывался; чай заваривал (когда было у самого) из чужого самовара; остатки обеда сам разогревал у железной печки себе к ужину, и, надо признаться, не газ производил несносный чад по коридору, расслескав какнибудь свои щи на раскаленное железо печки. Руки у него слегка дрожали.

Впрочем, ни на кого нельзя было пожаловаться из всего коридора; все были полны того смирения, которое невольно сообщается манерам и голосу в таких стенах. Один только попался строптивый арестант; но он при мне и трех дней не пробыл,—ушел с партией. Он был крайне недоволен фамильярным обращением с собою прислуги.

— Ты забываешь, каналья, с кем говоришь?

— Да чего тут помнить то!

— Как! Ты еще смеешь, подлец, этакие мне грубости говорить? Кто-ты такой? Бродяга какойнибудь,—человека, может быть, убил. А я—дворянин! Понимаешь ли ты, подлая твоя воровская рожа—дворянин!

— Здесь, сударь, все равны.

— Все равны! Никогда я с тобою не буду равен, подлец. Вздумал себя равнять с благородным человеком! Тебя только бить, мерзавца, а не то, что разговаривать с тобой.

— Вы с руками-то подальше, подальше! Я ведь и сдачи дам.

— Что такое? в чем дело?—раздался голос Константина Ивановича.

— Да вот-с они обиделись, что я им сказал: сударь, а не ваше благородие.

— Опять вы шуметь! Я вам найду место, где нельзя вам будут шуметь. Что вы в самом деле, расходились? И еще на вес коридор крик подымаете! Есть здесь почише вас, да не кричат! Я вам говорю:—найду я вам место, найду!

Строптивый дворянин уgomоняется, но Константин Иванович не оставляет без должного наставления Василия Непомнящего.

— А ты что горло дерешь? а! Где нахлестался, анафема?

— Маковой росинки не было...

Молчать! Знаю я вас, анафем?

Но я ведь начал было рассказывать, как проходил у меня день обыкновенно, а уж это исключительный случай.

Пока Крупский не отправился в дальнейший путь, мы заказывали себе обед вместе здешней кухарке:—щи, лапшу или суп, и жареный кусок баранины или телятины с картофелем. К этому у меня находилась всегда еще какаянибудь прибавка. Потом мы заказывали себе иногда кашу и посылали к воротам за топленным молоком; торговки не отходили от них весь день.

Кухарка питала большое сочувствие к Крупскому, приходила иногда к нему вечером посидеть и называла его «милый человек». Ей было лет пятьдесят, и

она любила выпить. Крупский угощал ее только чаем. На меня она почему-то смотрела, как на человека более гордого, пока я ей не поднес, придя в номер Крупского, стакан водки. Это ее примирило со мной, и она тут же стала называть и меня «милым человеком». Ее, как она говорила, смущало во мне и то, что я, как все у нас в остроге рассказывают, несметный — богач, в каком вон возке приехал, да и дальше не с партией пойду, — и еще то, что я должен быть очень «строгий» человек, потому что хотел царя убить.

— А это вы откуда узнали?

— Да все рассказывают.

Я любопытствовал узнать, она-то кто такая.

— Ах, милый человек! — принялась она рассказывать, — не тем бы мне теперь быть, чем я есть. С первым то мужем мы хорошо жили. Он был строгого такого права человек. Вот ты сам посуди! Малым еще мальчишкой был, так застал раз мать с любовником... И так это ему запретило, запретило — выдержать не мог и бежал. Ну, а я, грешница, хоть и за вторым мужем теперь... И ведь, милый человек, как вдовела-то, четыре года с офицером жила. Теперь уже где до офицеров-то. А грешница, что говорить!

За обед, приготовленный этою старою грешницей, мы сиделись обыкновенно в час или много часа в два. Только в это время позволял себе заходить иногда ко мне наш косой надзиратель. Он был человек очень деликатный, не любил мешать не в пору своим присутствием, и заходил то не потому в обед, что его угостят вином или сигарой: он ни того, ни другого не брал в рот. Он являлся ко мне обыкновенно за советами, как ему поступить со своим маленьким сыном (которого он раз приводил ко мне), оставить ли его кончать курс в уездном училище, или теперь же перевести в гимназию, а потом, если он пойдет из гимназии в университет, то высвободится ли, наконец, из казачьего сословия, и т. д. Ему очень хотелось, чтобы сын его был доктором. Сам он был простой казак и жил только тем, что получал в остроге жалованье и на водку от «дворян», да за стирку белья, которое брала его жена.

В течение месяца, который довелось мне пробыть в Тобольске, я, как уже сказал, несколько раз обедал вне тюрьмы. Это случалось раз около десяти. Обыкновенно за мною заезжал тот, кто меня пригласил, или полицеймейстер, и я отправлялся с ними. Вечером возвращался я, как случится, или с кем-нибудь, или один. Обыкновенно я приезжал обратно в острог пораньше, часам к семи, много что к половине восьмого, чтобы поспеть к поверке, хотя этой тонкости мог бы и не наблюдать.

Когда я оставался дома, в начале сумерек, обыкновенно у нас в коридоре бывала некоторая музыка, и я мог услаждаться ею, отворив свою дверь. Или пел турецкий капитан какую то в высшей степени странную турецкую песню — всегда одну — чрезвычайно быструю и монотонную; это, должно быть, какаянибудь очень веселая песня, но она выходила унылою в устах капитана. Голос у него был еще свежий и ровный. Совсем наоборот, очень хорошие и горькие песни выходили у Крупского какими то безжизненными и безхарактерными, когда он начинал заливаться с гитарой в своем номере. «Ieszcze Polska nie sginieła» пел

он каким то плясовым напевом; чудная песнь Корнеля Уейского выходила дикою, тогда как в ней каждое слово и каждая нота кажутся таким отчаянным воплем.

Лучше бы уж он не пел этого дивного гимна.

Иногда (это было, впрочем, не более трех раз) из глубины коридора резко доносился тонкий и звенящий, как хрусталь, голос, певший «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых» или какие нибудь ирмосы. Я не понимал, кто это так звонко поет: то казалось мне, будто женщина, то—будто дитя.

— Это кто запел?—спросил я Василья, когда услышал его в первый раз

— Содержающий-с.

— Знаю, да кто такой?

— Андрей-с, вы видели. Он еще судится-с, подсудимый.

Я действительно видал его в коридоре, но не обращал на него никакого внимания. Это был высокий молодой человек, постоянно ходивший в арестантской шинели. Он был тут, как свой:—видно, давно уже содержался; надзиратель звал его не иначе, как Андрюша.

Вскоре как то после первого своего пения, он остановил меня в коридоре, вопросом, не знаю ли я, когда будет манифест о тысячелетии. Я ответил, что, кажется, в августе.

— А освободят ли меня-с?—спросил он.

— Да вы за что судитесь?

— Я-с—по скопчеству.

Вглядевшись попристальнее в его одутловатое, дряблое и безбородое лицо, можно было заподозрить его тайну, и не слышавши его пения. Он рассказал мне весь ход своего дела; но так как в нем нет ничего решительно любопытного, то я и умолчу о нем.

Меня поразило в нем более всего одно. По вечерам, преимущественно после проверки (она большею частью проходила раньше срока, т. е. половины восьмого, в сумерках), значительная часть наших жильцов собиралась в коридоре на общую беседу, или, лучше сказать, на сказки, которые мастерски рассказывал Василий Непомнящий. В один из таких вечеров, прежде чем Василий принялся за рассказ, зашел разговор о том крае, откуда был скопец, чуть ли не о Березове,—и я был поражен одушевлением, с каким этот человек говорил о природе. Он рассказывал, как отрадно встречать там весну после долгой зимы, как начинает всё зеленеть, какие цветы расцветают, какие птицы прилетают. Он называл каждый цветок по имени, описывал его краски и листки и спрашивал, есть ли здесь такие; также и птиц он называл и рассказывал и о манере их полета, и об отливе их перьев: та—словно золотом отливает, та—словно серебром, а эта—радугой светит. Как в этом человеке, так враждебно ставшем в отношении к своей собственной природе, могло сохраниться и развиваться это живое чувство любви к природе внешней? Или одно сменилось другим? Переставши понимать красоту женщины, он, может быть, стал сильнее чувствовать то, что говорит только зрению, слуху?...

Вечерние беседы в коридоре происходили обыкновенно таким образом. Прежде всего вызывался Василий Непомнящий, и около него садились, кто на длин-

ной скамье, кто на табуретах: Иван, Андрияша-скопец, косой надзиратель и еще человека три-четыре из «содержающих»; последние сменялись, но первые трое оставались постоянно главными слушателями. Василий рассказывал громко, внятно, украшая свои сказки разными подробностями своего изобретения. Он знал их огромное количество, и русских, и из «Тысячи одной ночи». Случалось ему заводить такие длинные, что в один вечер трудно было досказать. Слушатели обыкновенно не отставали и требовали, чтобы он закончил; но рассказчик сам начинал дремать и говорил, что если станет досказывать в этот вечер, сказка хуже выйдет. Мне не зачем было выходить в коридор, чтобы слушать. Беседа происходила неподалеку от моего номера, и я мог отлично следить за рассказами и разговорами, отворив дверь и улегшись на койку, что я и делал почти каждый вечер. Василий оканчивал обыкновенно каждую свою сказку известною прибауткою: «я там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало; дали мне шлык, я в ворота шмыг, бежал-бежал, да в острог попал. Вот и теперь тут сижу». После длинных богатырских сказок, рассказывавшихся в течение двух вечеров, слушатели обыкновенно требовали, чтобы Василий рассказал чтонибудь покороче, да посмешнее, не про царевичей уж, а про попа. И про попа Василий рассказывал, и про попадью.

Но у него были в запасе и не такие еще сказки. Раз принялся он рассказывать «Истинное происшествие» про некоего солдата Ивана Долгова и про фрейлину государынину, княгиню Нарышкину. Эта история заняла всех едва ли не больше всех остальных сказок Василия. И было, впрочем, чем заинтересоваться. Ее стоило бы стенографировать, и я жалею, что не сделал этого. Что за обилие фантазии выказывал тут Василий, и в то же время, какую историческую достоверность прибавлял он всему самыми мелкими подробностями. Он обрисовывал нам физиономии, манеры каждого действующего лица в своем рассказе и представлял всё в самых живых красках и образах. Я не раз думал, что, родись Василий в другом сословии, да получи образование, из него непременно вышел бы замечательный романист.

В главных чертах история Ивана Долгова заключается в следующем. Это был солдат и стоял во дворце на часах. Как очень красивый и высокий малый, он обратил на себя внимание фрейлины, княгини Нарышкиной, отличавшейся вкусами Елизаветы и Екатерины. Княгиня узнала стороною, кто такой, какого полка и пр. пленивший ее красавец-солдат. Василий описывал ее любовь очень выразительно, как она и есть то не могла (тут перечислялись все прелести царского стола), как она и спать то не могла по ночам—всё только и думала, что об Иване Долгове. Наконец, отпросилась она у императрицы в отпуск, будто бы в отъезд в имение свое (губерния, уезд, название деревни, количество душ, и пр.), а сама, между тем, наняла себе квартиру в Петербурге, в доме Жукова (о табачной его фабрике и как он разбогател), на углу Садовой и Гороховой. Тут опять таки со всеми околичностями—и гораздо большими, чем прежде—рассказывалось о каждом свидании влюбленной княгини с солдатом, о том, как она посылала его в баню, какое белье ему дарила, какими амбре душила и проч.; о великой хитрости самого Ивана Долгова, как он просрочивал в казармы к заре,

стал пренебрегать службой, забросил «все эти пхные гульки и пунтики», не ночевал, подкупал и старшего, и ротного, а потом и батальонного командира. Дело кончилось тем, что плененный молодцеватостью Ивана Долгова и тронутый любовью к нему княгини Нарышкиной, покойный император Николай Павлович произвел его, не в пример прочим, в полковники, а потом тотчас в генералы, и сделал его своим адъютантом. Иван Долгов, конечно, женился на княгине Нарышкиной, и все пошло, как по маслу.

История эта возбудила в коридоре государственный вопрос о том, могло ли бы это повториться теперь. По мнению косого надзирателя, могло, потому что всё в царской воле; но Василий Цепомнящий не соглашался с мнением надзирателя. Он прежде всего обратился к причинам, и разъяснил, что этого не может быть по случаю изменения формы. У солдата в нынешней форме нет уже той молодцеватости, какая была при прежних мундирах, и потому никакая княгиня Нарышкина плениться им не может. А форму кто изменил? Нынешняя царица как она большая богомолка. «Что это, говорит, за гадость такая, что брюхо не прикрыто у солдата? И зад почти что не прикрыт! Кроме, говорит, непристойности, ничего хорошего». Вот царь и послушался и дал новые мундиры. Надзиратель был вполне согласен с высочайшим мнением, что, действительно, прежняя была безстыжая какая то форма.

В другой раз Василий рассказал, как он провел три года в бегах и заходил домой повидаться с матушкой, с родными. Рассказ был трогательный, задушевный. Надзиратель только поддакивал каким то особенно мягким и кротким голосом: «Да...да... Эх, что и говорить!... Точно, что горько, брат...» и т. п. Иван всё молчал, и ему, видно, сгрустнулось; когда Василий кончил, он тихо проговорил: «Да, всё бы ничего, только с матушкой охота бы повидаться. Никого не жаль, oprичь ее. Были бы крылья, сейчас бы, кажется, взвился и полетел. Посмотрел бы хоть».

У надзирателя была значительная склонность к мистицизму, и он заводил иногда речь о разных сверхъестественных явлениях: о встающих из могилы мертвецах, об оборотнях и проч. Василий отнесился ко всему этому скептически и вступал с надзирателем в спор, приводил в пример разные случаи, как мошенники являлись привидениями, чтобы обокрасть или напугать и проч. Но надзиратель был непоколебим.

— А вот недавно еще в Омске часовому мертвец ноги обглодал. На это ты что скажешь?

Василий стал, действительно, втупик.

— Одно я тебе скажу,—заключал надзиратель.—Бога человек должен всегда держать на уме,—вот что.

Рассказы тянулись иногда довольно долго. Когда все расходились по своим местам, и двери номеров затворялись, мне не раз случалось слышать продолжение беседы между Василием и Иваном, уже в постели. Иван часто вдавался в печальные размышления о домашних и о родной стороне; Василий же всё соображал, как ему лучше сделать: дойти ли до завода и оттуда бежать, или там объявиться, или бежать, не доходя до завода, с дороги. «Тяжко уж мне больно

без имени-то быть». Потом он приходил советоваться со мной, как ему поступить, и я справлялся ему по законам, что для него выгоднее.

Василий с Иваном спали в коридоре на полу и, разумеется, несколько не стеснялись постоянной беготней мышей, которая начиналась в огромных размерах, как только гасла свеча в коридоре; свет от топившейся железной печи несколько не смущал их. Меня мыши безпокоили порядочно таки. Виною были, может быть, голова сахара, стоявшая в углу, да крошки хлеба на полу. Они были решительно бесстрашны, лезли иногда по одеялу ко мне на постель, и я несколько раз всю ночь не гасил свечу, чтобы хоть сколько нибудь уговорить их. При известном тебе отвращении моем к кошкам, я добыл себе даже котенка, и он хоть не ловил мышей, но всё-таки пугал их, пыжась и сердито шипя над их норами.

Вот как обыкновенно проходили дни мои в тобольском остроге. Раза два в неделю, еще до рассвета, начиналось мытье полов в коридоре и в камерах. Его особенно стали учашать в ожидании скорого приезда нового генерал-губернатора. Полон коридор нагоняли баб из женского отделения пересыльных, и часа два продолжалась эта пачкотня, скобление и проч. На целый день оставался везде отвратительный запах сырости, в дополнение к постоянному почти чаду.

Потом, раз в неделю приходили партии (обыкновенно по понедельникам), и отправлялись по назначению раз или два, смотря по тому, куда им следовать. Отправился в своей повозке, хотя и с партией, упомянутый мною казначей, вместе с женой, детьми и скудным хозяйством; отправился поляк; отправился не расставшийся со своим дворянским достоинством арестант. Из вновь поступавших в наше отделение пересыльных не было никого интересного.

Отправка одной из партий не обошлась без порки. Услыхав по утру особенное движение и говор в коридоре, я вышел спросить, что случилось. Все наши дворяне, прислуга и сам надзиратель взмошлись на скамейки и смотрели в высокие окна коридора, которые выходили на пересыльный двор.

— Наказывают, — отвечали мне на мой вопрос.

Я взлез на одну из скамеек и увидел густую толпу совсем готовых в путь «несчастных». Посреди ее подымались и опускались поочередно два толстых пучка длинных розог. Константин и Захар Иванычи суетливо распоряжались около этих розог, но наказываемого не было видно. Приятное напутствие в такую легкую дорогу! Я спросил, за что? Оказалось, за то, что, имея один полушубок годный, виновные взяли в приказе по другому полушубку и вшили их один в другой.

Вот, наконец, простился со мною и Крупский. Он купил себе кибитку за три с полтиною, уложил свое хозяйство, не забыл и гитару. Самое начало его путешествия не предвещало ничего доброго. Он выбрал, как нарочно, такую партию, в которой не было никого из «дворян», и у него одного была своя подвода. Она оказывалась лишнею против того числа, до которого подрядчик обязался поставлять лошадей. Он не хотел давать Крупскому лошади и требовал прогонных денег. Его едва убедили; но явно, что такие прижимки должны были повториться.

— Вам надо лошадь купить, — советовали Крупскому.

Хорошо было так советовать, но исполнить, даже при здешней дешевизне совет этот Крупский мог, только обрекши себя на многие лишения.

После отъезда Крупского стало как то тише у нас, или, может быть, это казалось только мне, потому что он все-таки каждый день приходил ко мне, и мы, как я уже говорил, обедали вместе, а иногда вместе же пили и чай. Как ни мало внушал он мне симпатии, а мне все-таки было очень его жаль.

Мне еще раз случилось видеть «политического преступника» Федора Иванова. Я сидел и писал, когда он вошел ко мне раз поутру очень рано и, не говоря ни слова, упал передо мною на оба колена разом. Конечно, ему нужны были деньги. Я заметил особую бледность и худобу в его лице. Он был в больнице почти с самого прихода своего в Тобольск и потому мог пробираться в наше отделение.

Дня через два я услышал в коридоре рассказ Василия, что Федор Иванов ослеп.

— Какой Федор Иванов?—спросил я.

— А кандалщик-с,—отвечал Василий.—Вот, что у вас-то был.

— Давно ли?

— Да нынче вдруг это сделалось у него. Паралич, что ли ударил.

— Это Бог его покарал,—заметил Иван.

— За что?

— Да ведь он с нами в одной партии шел, так только и знал, что всех оговаривал. Нехороший он человек, злой. Товарищей двадцать, поди, дорогой-то под розги подвел наговорами своими. Вот и покарал Господь.

Мне нужны были кое-какие справки в уставе о ссыльных, и я привез его раз с собой от прокурора. Василий, знавший немного, хоть и плохо, грамоте, увидал, что я читаю законы, и они вместе с Иваном приходили ко мне за справками. Оба они рассказали мне свои истории и планы о побеге. У Ивана была непреоборимая страсть к перемене мест. Он тосковал без широкого простора перед собой. Он был помещичий крестьянин, его повезли в ближайший город для сдачи в рекруты, а он бежал с дороги, и скитался с тех пор, переменяя имена. Василий был сослан в Сибирь на так называемое водворение, и жил довольно долго в Омске, нанимаясь в кучера. Он тоже был из крепостных, и у барина еще занимался кучерством. По его рассказам, в Омске он получал слишком малое жалованье, и ему хотелось отойти от нанимавшего его господина к другому платившему больше; но тот не соглашался, а когда Василий вздумал грубить, он отправил его в полицию. Полицеймейстер же был ему приятель, призвал Василия, наругался над ним и отхлестал его по щекам. Василий в ту же ночь и бежал с досады, да и проходил три года, побывал везде: и у родных, и в знакомых местах и в городах. Взяли его в Уфе. Теперь их обоих, Ивана и Василия, отправляли на год на завод, около Тюмени, кажется, значит очень недалеко. И Василий, которому надоело быть непомнящим, решил, что бежит, не доходя до завода, проплатается где-нибудь до манифеста, а к тому времени опять явится в Омск и будет по прежнему с местом и с именем. «Да хоть и до манифеста-то явиться, так не беда. При полиции только накажут — вот и все. Да и то не накажут.

Откупиться можно». У Ивана, напротив, не было таких определенных планов. Побег представлялся ему каким-то поэтическим шатаванием по всему белому свету, из края в край.

Оба они ушли из Тобольска днями четырьмя-пятью раньше меня, и тут уже водворилась у нас совершенная тишина. По вечерам не слышалось ни сказок, ни разговоров. На место Василия и Ивана поступило тоже двое: один—мальчик лет шестнадцати, отправлявшийся вместе с отцом на поселенье, с виду похожий на калмыка, с хитрым взглядом, но на словах глупый; другой — крестьянин из Гобольского уезда, приговоренный за укрывательство какое-то на полтора года в арестантские роты, но оттуда освобожденный по болезни. Ему поэтому следовало еще выжить полгода в тобольском остроге. Это был человек лет тридцати пяти, смиренный и кроткий, мало говоривший и все вздыхавший. Его очень тревожило, что к нему не пускают его незаконную маленькую дочку, которую он называл то «девчоночкой» своей, то «питальницей».

— Хоть бы поить-то ее пустили,—говорил он.—Этто вышел к воротам,—она стоит там, продрогла вся. «Тятинька, я,—говорит,—поить хочу». Хорошо еще вышел я в пору, дал ей калачика; а то ину пору придет—постоит, постоит, зальется слезами, да и уйдет.

Я выхлопотал ему у начальства позволение видаться с нею каждый день в известный срок.

Надзиратель тоже был недоволен уходом прежней прислуги, и в особенности красная Василия. Ему не к кому было уже присоседиться вечером, и он сделался даже что-то ворчлив, чего за ним прежде не водилось.

Я уже говорил о периодическом приходе и отходе арестантских партий. Это было таким обычным делом в остроге, что никто не интересовался им—ни из начальства, ни из «содержающих». Другое дело—приезд с жандармами. Таким образом, и я, и Крупский сделались лицами всем известными. В течение моего пребывания в тобольском остроге еще третье лицо обратило там на себя всеобщее внимание. Это было еще в то время, когда Василий с Иваном прислуживали мне.

Именно, Василий явился ко мне с известием, что еще кого-то привезли с жандармами, в ручных и ножных кандалах. Это было утром. Я наскоро оделся и побежал к воротам. Мне думалось, не из Петербурга ли ктонибудь, не из наших ли общих друзей и знакомых ктонибудь. Мне почему-то казалось, что я встречу Владимира Обручева ¹⁾.

Как ни поспешно сообщил мне новость Василий Непомнящий, но я подоспел уже поздно. Не жандармы, а казаки, сопровождавшие арестанта, успели уже удалиться с почтовой кибиткою, и любопытные, сбегавшиеся со двора, разошлись. Я решил зайти справиться к помощнику, которого квартира была в сенях из под ворот, и вошел в сени. Тут я застал следующую сцену. Смотритель, повторяя ежеминутно: «чего-с? чего-с?» суется около своего нового жильца. Ему перебивали кандалы, которые были слишком узки. Новопривезенный арестант сидел на нижней ступеньке каменной лестницы, ведущей во второй этаж, низко понурив голову,

¹⁾ О Вл. А. Обручеве—см. вторую главу „Записок“ и примечания на стр. 47, 48.

так что видна была только часть его бороды из под нахлобученной на уши мохнатой меховой шапки; одна нога его лежала на знакомой мне гире, и стоявший на коленях казак взмахивал над пею молотком, заклепывая новые кандалы. У меня сердце сжалось! Такая это была унылая и в то же время возмутительная операция. Формалист-смотритель, заметив мое присутствие, поспешно подбежал ко мне и попросил меня удалиться. Тут были еще какие-то неизвестные мне чиновники, и я с досадой исполнил его просьбу.

Вскоре я узнал, что привезенный—пермский крестьянин Кокшаров, который был доверителем от пермских заводских крестьян и подавал от лица их просьбы и протесты. Говорили, что он объяснял им их положение и возбуждал неудовольствие. Последним делом его была поездка в Петербург для подачи просьбы государю по доверенности от трех тысяч заводских крестьян. Что сделали с его просьбой в Петербурге, неизвестно; но ему велено было возвратиться домой. Вскоре, однако-же, пришло распоряжение арестовать его. Крестьяне не хотели выдавать его и Кокшарова пришлось брать военной силой, причем было убито несколько человек, защищавших его (об этом что-то умалчивает Валуев в своих отчетах по крестьянскому делу). Кокшарова схватили-таки, сковали и бросили в пермский острог. Тут продержали его всего два дня, не предлагали ему никаких вопросов, не производили над ним никакого следствия, и на третий день, отправили с двумя казаками в Тобольск для препровождения в каторжную работу. Он не был наказан телесно (кроме кандалов, которые у нас, как известно, вопреки закону, не считаются телесным наказанием). Такое скорое решение свидетельствует, конечно, главным образом, об успехах науки в России. Ведь из Перми уже действует телеграф, и, разумеется, пермское начальство поступило не по своему собственному побуждению. Кокшаров уже не юноша, ему под сорок, если не больше.

Мне очень хотелось увидаться с ним и узнать от него лично, насколько правды в том, что я слышал и пересказал теперь¹⁾; но это мне не удалось. Кокшарова посадили в так называемую секретную, и я два дня сряду пытался проникнуть к нему. Но, как нарочно, надзиратель кандалного отделения отлучался куда-то, и его заменяло лицо, мне совершенно неизвестное. Я не рискнул вручить ему за пропуск пятирублевую бумажку, которую с этой целью носил в кармане,—тем более, что приходилось говорить с ним сквозь железную решетку, в присутствии часового. Я, наконец, взял с собою Константина Иваныча; но и тут вышла неудача. Надзирателя в это время совсем не было дома, а с ним и ключей от секретных номеров. Я подошел к тому, в котором содержался Кокшаров, и заглянул в щелку двери. Он в это время спал. На четвертый день он ушел с этапом; но мне, вероятно, еще придется увидаться с ним в Сибири.

¹⁾ В делах бывш. III Отделения (ныне Историко-Революц. Архив) за 1861 г. сведений о передаваемом факте не сохранилось. Только в деле № 222—4 экзп. (Донесения о ходе крестьянского движения в Пермской губ.) упоминается среди „подстрекателей к беспорядкам“ крестьянин имени кн. Бутеро-Радали Кокшаров. Вероятно, сообщенные Михайлову сведения преувеличены, так как за весь 1861 г., как видно из того же дела, в Пермской губ. было только одно столкновение крестьян гр. Строганова с войсками в Инвевском округе Соликамского уезда.

Удачнее было желание мое видѣться и познакомиться с другим политическим преступником (какое это нелепое название, в особенности, в применении к настоящему случаю), сосланным, впрочем, только на жительство в Тобольскую губернию (хоть и без срока). Я говорю о ксендзе-канонике Маевском, который виноват оказался в том, что не остановил народа в Гродно, желавшего церковной процессии, а, напротив, сам его повел. При этом, впрочем, не произошло никаких ни замешательств, ни столкновений. Епископ, которому Маевский донес о желании народа идти крестным ходом, поступил дипломатически: он не запретил его, а только сказал, что процессия будет остановлена военной силой. Это не помешало Маевскому идти с крестами и пением. Дойдя до места, где были расположены войска, он обратился к богомольцам и сказал, что обет их исполнен, а бороться с вооруженной силой было бы бесполезной резней, которая не может быть приятна Богу. Все стали на колени, пропели свои молитвы, возвратились в церковь и потом спокойно разошлись по домам.

Кажется, следовало бы поблагодарить человека за удержание, как говорится, народа в границах спокойствия; но Маевского схватили, продержали в Вильно в тюрьме и препроводили сюда. При следствии не помогла даже проповедь, которую он произнес перед выходом из церкви. В этой проповеди очень ловко говорилось, что цель процессии—чисто религиозная, что надо забыть обо всех политических партиях, собравшись молиться Богу, что тут должен проявиться не дух партий, не дух Гарибальди, не дух Мерославского ¹⁾, а дух святой. Любопытно замечание, сделанное Маевскому по этому поводу Назимовым ²⁾. «Вы хотели надуть Бога,—сказал он,—по люди в девятнадцатом столетии вас разгадали». Назимов-то человек девятнадцатого века! Не правда ли? это очень мило.

Я рассказал в нескольких словах то, что Маевский передавал мне со всеми подробностями; но они, вероятно, давно уже появились в иностранных журналах. Мы обедали с ним вместе у зрителя и потом просидели часть вечера. По русским фразам, которые он приводил в своем рассказе, можно было видеть, что он хорошо говорит и по русски; но он утверждал, что это ему трудно, и рассказывал по польски. Вообще, он говорил замечательно красноречиво и умно и, вероятно, пользуется в Гродно большим влиянием и популярностью. Вообще, он произвел на меня очень приятное впечатление своими здравыми суждениями, на сколько они не разногласили с его католическими или, лучше сказать, христианскими тенденциями. Впрочем, может быть, он показался бы мне еще лучше, если бы мы разговаривали только вдвоем: официальное положение нашего хозяина должно было несколько смягчать его речь. У нас оказалось человека два-три общих знакомых из гродненских поляков,—между прочим, поэт Желиговский.

Наружность Маевского не особенно представительна. Он не высокого роста и сильно согнувшийся, сутуловатый. Продолговатое лицо его приятно, и в се-

¹⁾ Ме(ф)рославский, Людвиг (1814—1878), диктатор польских войск в восстании 1863 г., деятель польского восстания 1830 г. и революции 1848 г.

²⁾ Назимов, Владимир Иванович (1802—1874), виленский военный губернатор и генерал-губернатор Северо-Западного края.

рых, какого то свинцового цвета, глазах есть что то действующее магнетически на нервных людей; очень развитые губы показывают, что он не прочь от наслаждений мира сего, ни от вина, ни от женских поцелуев. Ему никак не более на вид сорока лет; коротко стриженные, русые волосы его еще довольно густы.

Как присланный на жительство, без лишения прав, Маевский избег, разумеется, острожного помещения и жил на частной квартире. Он, кажется, рассчитывал остаться в самом Тобольске, и это—при других условиях—было бы возможно. Он отслужил три обеда в здешнем костеле. Остроумный губернатор, угадавший свое подобие в свином рыле, нашел это почему то неудобным,—и вот теперь Маевского хотят перевести из Тобольска в уездный город Курган. Должно быть хороший город; я об нем никогда и не слыхивал¹⁾.

Сколько можно судить по ходу моего дела, я начинал надеяться, что скоро могу и уехать. Я не хотел оставлять Тобольска, не осмотрев хорошенько острога, всех его отделений и проч. Для этого я решил воспользоваться услугами помощника, которому всюду открыт был свободный доступ. Одному даже не на все дворы можно было войти. Сначала меня останавливали часовые в моих прогулках, и я только гривенниками покупал у них позволение свободно расхаживать по всем закоулкам и углам восьми (кажется, так) тюремных дворов. Константин Иванович согласился водить меня всюду, в надежде, разумеется, на денежную награду.

По мере того, как приближался мой отъезд, он становился еще назойливее. Ему, повидимому, хотелось извлечь из меня все выгоды, какие только можно.

Раз привел он ко мне страшно оборванного мальчика лет десяти и начал рассказывать какую то длинную историю о его крайней нищете, о том, что он его где то случайно нашел и решил взять на свое попечение и приютить у себя.

— Будьте отцом родным, Михаил Ларионович, — заключил он, — посодествуйте сироте. Видите, в каком он рубище. У вас есть полушубочек казенный. Он бы век стал Богу за вас молить.

Я отдал полушубок, которым снабдила меня петербургская управа благочиния. Он оказался только что впору мальчику. К слову замечу, что казенные полушубки вообще как будто кроются и шьются на детей: так они коротки и узки. Это, вероятно, имеет какое нибудь отношение к экономическим понятиям начальства.

В другой раз помощник приходил и начинал проливать предо мною притворные слезы о потере его дочерью трех рублей, с которыми она поехала в город, в гостинный ряд для покупки себе какой-то обновы. На слезы Константин Иванович был тароват: они легко вызывались у него водкой, а пьян он был ежедневно, особенно к вечеру.

¹⁾ Нисиф Маевский был сослан в связи с гродненской демонстрацией 15 августа 1861 г.; об этой демонстрации см. статью Славянского „Истор. Вестн.“ 1889 № 6—7. В ссылке пробыл Маевский недолго: в 1862 г. он получил разрешение возвратиться на родину и до 1874 г. жил в деревне Камубицы Гродненской губ.; в 1875 г. был освобожден от надзора.

Так как потеря его дочери меня не тронула, он в следующий раз изобрел новую пропажу.

— Такое со мной, право, несчастье,—рассказывал он.—Верите ли, Михаил Ларионович, говорить-то—уста кровью запекаются. Поехал вчера в город. Давно собирался дочери сатину купить на салоп. Дело то под вечер было. Сам я правлю всегда. Понес меня маненечко конь. Как уж у меня выпал этот сатин из-под мышки и где—понять я этого не могу. Приехал домой—ну, как я скажу? Так и не сказал. Сегодня встал чем свет, все улицы обошел—снег-то это раскапываю. Нет, как нет моего сатину.

— Где уж найти!

— Конечно, Михаил Ларионович,—оно и понятно. Лежит на улице, среди дороги, штука сатину. Да как же, ему целу быть? И какой выбрал превосходнейший сатин! Восемь с лишним рублей—легко это сказать.

Я начал было его усовещивать, чтобы он сказал прямо, что ему хочется у меня денег получить, но он стоял на своем сатине.

Точно также не хотел он признаться, что подрался в пьяном виде, когда пришел раз ко мне с огромными синяками под глазами и с раскroенным в кровь виском и лбом, которые он напрасно старался скрыть волосами. Он утверждал, что это его конь побил.

— Подошел я это ему ноздрен протереть. Мороз, знаете,—заиндевело всё. Как хватит он меня вдруг уздой. И что это с ним сделалось—понять не могу. Этаким был смирный, послушливый конь, и вдруг, только что я подхожу к нему—начинает меня хлестать уздой по лицу. Искровенил всего.

Василий Непомнящий иначе не называл Константина Ивановича, как безстыжными глазами.

— Ведь это известно-с,—пояснил он,—у писарей стыда нет, а он из писарей-с.

В то утро, как помощник согласился сопровождать меня по острогу, он, против обыкновения, не был пьян. Вероятно, опохмелиться было не на что. Мы пошли.

Оставляя его в стороне, я расскажу в немногих словах то, что видел. И так рассказ мой о тебoльском остроге вышел бесконечно длинен.

Самое интересное отделение, конечно, канальное. Комната, в которой я был помещен на время по приезде, принадлежала к числу номеров, назначенных для подсудимых. Таких номеров идет несколько под ряд по темному корридору. Они не заперты, потому что в них содержатся подсудимые не по важным преступлениям. В иных на нарах помещается человека по три, по четыре. Далее идет корридор секретных, то есть тоже отчасти подсудимых, отчасти пересыльных, возбуждающих почему нибдь опасение. Здесь двери уже заперты, и что странно, они глухие, без маленбких окошечек. За содержащимися там можно наблюдать только в небольшие дырки, просверленные где попало. Этот корридор несколько светлее и опрятнее, так как по нему мало ходят. Я заглянул в две-три щели. Номера были пусты, только в одном сидел какой-то офицер, судимый, кажется, за убийство.

По пaткой и узкой деревянной лестнице поднялись мы в другой этаж, который правильнее назвать просто чердаком. Это и есть помещение пересыльных

«кандалщиков». У всякого, кроме таких тюремных стражей, как наш помощник, невольно содрогнется и сожмется сердце при входе под эти темные низкие своды, при взгляде на эту горькую голь и унижение, которые кидаются в глаза на каждом шагу. Как бы ни были преступны и черны душой все эти несчастные, набитые тут, как звери в клетку, в душе не возбуждается ничего, кроме жалости к ним. Христианское законодательство наше не понимает, что оно только портит и нравственно ухудшает своими мерами преступников, вселяя в них ожесточение и ненависть к человеческому обществу. Ведь, большинство преступлений все-таки совершаются в минуты страсти, в минуты увлечения. В значительной степени случаев преступление даже не кладет резкой печати на нравственную сторону человека. Пыл страсти миновал, и наступило раскаяние, а это чувство, знакомое до тех пор, заставляет человека вдумываться в себя, анализировать свои побуждения, и, стало быть, возвышает нравственный его уровень. Иной преступник после того, как на его руки брызнула кровь убитого им ближнего—становится нравственнее, чем был до тех пор. Много ли этих холодных, ожесточенных убийц, которые находят наслаждение в проливаемой ими крови? Не выродки ли это? Не физические ли недостатки их мозга и черепа виной этому? А воспитание ничего не делало для них. Если же и не так, то откуда приходит ожесточение, как не из условий самой жизни, обреченной на невежество, нужду и невыносимые ни для какого животного лишения? Неужто нельзя положить границ между побуждениями людей к преступлениям и разделить их на основании этих побуждений? Смешивая всех в одном понятии «преступник», правительство только развращает лучших из них. Только тогда уж надо вверить надзор и попечительство над ними не безграмотным и жестоким солдатам, вроде Захаров и Константинов Ивановичей.

Острог в Тобольске новый; в нем, как говорят, сделано очень много улучшений в сравнении с тем, что было прежде в старом здании, находившемся неподалеку от нынешнего и теперь обращенного, кажется, в арестантскую роту. Уж из того, каково теперь помещение у кандалщиков, можно заключить, как их содержали прежде. Я уже не говорю о сырости, без которой, повидимому, никак не могут обходиться наши тюрьмы, даже стоящие так долго, как, например, Петропавловская крепость. Кроме сырости, помещение кандалных лишено всяких удобств. Под низкими сводами, где только можно распрямиться стоя, не устроено даже нар. Это чердачное отделение состоит из нескольких комнат, большею частью небольших, соединенных между собою арками сводов. Это еще хорошо: будь тут двери, которые бы затворялись, воздух был бы ужасный. Он уж и теперь нигуда не годится. В других отделениях устроены хоть отдушины, которые его очищают немного, а здесь и этого нет. Все арестанты помещаются на полу. Из опасения ли драки, или просто из пренебрежения к этим несчастным, тут нет ни стола, ни стула. У редкого подостлан под себя потник или войлок. В любом зверинце лучше содержатся звери. Константин Иваныч торопил меня, будто опасаясь проходить один и без всякого оружия среди сотни этих жалких и оборванных людей, с клейменными темными лицами, с подбритыми головами. Мне было жаль, что я не мог побыть с ними дольше и поговорить. Все они сидели или лежали на полу,—кто приспособлял свои кандалы, чтобы они меньше терли ноги, кто

завтракал черным хлебом, кто чинил свою одежку. Многие лежали, закинув за голову руки. Были тут и больные, стоившие, но, вероятно, лишь от угару, потому что не поступили в больницу. Духота, жалкий полусвет, грязь, голоданье, нищета, унижение—все эти исправительные меры нашего законодательства являлись тут в полном своем значении.

Отделение переселенцев и женское могут показаться раем после этого помещения. Они размещены по разным дворам. То большие камеры, в которых, не особенно теснясь, могут поместиться человек до пятидесяти, с нарами посредине. Но когда приходят большие партии, помещается, конечно, вдвое и втрое больше. Кому нет места на нарах, тот помещается под нарами. Таково устройство и всех наших тюрем, да не только тюрем, и казарм. Отделения эти показались мне приветливее не только потому, что я пошел в них из кандалного, но и потому, что они были почти пусты. Последняя партия состояла по преимуществу из кандалщиков. В женском отделении, несмотря на детей, и грудных, и едва начинающих лепетать, и становиться на ноги, было гораздо больше чистоты, порядка. Все больше сложено к месту, не раскидано, как на мужских половинах.

Меня больше всего удивило, что в здании, рассчитанном на столько людей (хоть и плохо рассчитанном), нет порядочного помещения для столовой. Она помещается в какой-то упраздненной бане, довольно тесной, с почерневшими от копоти и пропитанными банным запахом стенами.

Как ни вяло подвигалось дело об отправке меня с жандармами на свой счет, а все же оно подвигалось. Нужно было прежде всего подать просьбу в приказ о моем желании; потом составили журнал о ней; журнал пошел к прокурору, к губернатору, и странствовал недели две. Меня записали в больницу, сочинили мне медицинское свидетельство ¹⁾. Врачебная управа должна была подтвердить это свидетельство своим свидетельством. Меня, к счастью, не требовали в управу: один из членов ее заехал ко мне, и тем дело было кончено. Наконец то, можно было приказу потребовать от полицмейстера мои деньги и написать жандармскому штаб-офицеру, чтобы он назначил мне двух «благонадежных» проводников.

В течение всего этого времени мне довелось быть раза три или четыре в приказе. Когда я был там во второй раз, я получил твое письмо. Мне передали его нераспечатанным. Фризель вообще был любезен, на сколько может быть любезен такой бык. Он разговаривал со мной по-французски, предлагал мне в присутствии кресло за столом, на котором стоит зеркало, и проч.

Еще накануне отъезда познакомился я в приказе с моими новыми жандармами. Они даже и на первый взгляд не имели уже того официального характера, как петербургские. В самый день отъезда были получены деньги мои в приказе и при мне были переданы жандармам.

¹⁾ М. И. М.—в блж отправлен из Тобольска на почтовых на свой счет, „благодаря болезненному его состоянию, выразившемуся в сильном кровохаркании“, как значится в следственном материале.

Возвратившись из приказа к острогу, я был встречен у самых ворот смотрителем. Он объявил мне, что за мною прислал лошадь Пушкин ¹⁾, и что полицеймейстер просил его приехать вместе со мной. Время как раз (по тобольскому) подходило к обеду.

Мы тотчас же отправились.

Там решили, что смотритель распорядится вместе с жандармами уложить в возок мои вещи (всё было у меня уже с утра готово), и жандармы приедут за мной уже на почтовых сюда. При отправке моей следовало быть полицеймейстеру, а так как он обедал вместе со мной, то и это, значит, было удобно.

Таким образом, в сумерках 27 января я поехал из Тобольска дальше. Почти все обедавшие, и мужчины, и дамы, отправились провожать меня, и я окончательно простился с тобольским обществом, о котором у меня осталось самое приятное воспоминание, уже за городом, на том историческом месте, где, по преданию, высадился Ермак.

VIII.

Дорога до Иркутска.

О тобольских моих провожатых не стоит говорить так много, как я говорил о петербургских. Они, как я уже сказал, имели гораздо менее специально-жандармского характера. Мне уже нечего было испытывать их, насколько можно им довериться, и я мог прямо поручать им то или другое, противное их инструкции, не опасаясь, что они захотят меня выдать. Это были тоже два урядника, и тоже несколько не похожие один на другого. Один, Берников, темнорусый с рыжеватым отливом, красивый и ловкий, отличался аккуратностью и постоянно веселым нравом; другой, рябоватый и золотушно-кудрявый, Николаев, был мало находчив, хвастлив, но вообще вял, любил выпить и быстро пьянел. Он был писарем, а Берников берейтором. Это отчасти объясняет и разность их характеров. Кроме своей жандармской обязанности, Берников занимался отчасти торговлей, отчасти ремеслом. Он шил оленьи перчатки. Оба они были люди женатые, но только у одного Берникова проявлялась хозяйственность и положительность. Николаев, напротив, способен был при первом удобном случае замотаться и завихриться в какомнибудь кутеже. В местах, где мы останавливались несколько подольше, надо было держать ухо востро, чтобы он не напился пьян. Это, однако ж, случилось таки с ним раза три-

¹⁾ Управляющий Комиссариатского комиссией полковник Ждан-Пушкин, знакомый М-ва по Петербургу.—О прощальном обеде, данном тобольскою интеллигенцией М-ву, в докладе говорится: что после обеда кандалы М-ва были разбиты на части и поделены на память между собравшимися; что одно кольцо с надписью «покровителю угнетенных от Михайлова» видели на письменном столе вице-губернатора Соколова, и что при самом выезде М-ва из города повозка его была остановлена у заставы, и все провожавшие его прощались с ним, пили шампанское и кричали «ура». Все это в показаниях не подтвердилось, но из записок самого М-ва видно, что прощание, пожалуй, происходило именно так, как это описывает доклад.

четыре, и его приходилось садить на козлы для протрезвления. Мы пускали его тогда в возок, лишь убедившись, что он успел уже немного продрогнуть и протрезвиться.

Мне еще раз привелось видетъся с Станиславом Крупским. Видя крайние нужды его, я поделился с ним чем мог, и сказаал двум-трем моим тобольским знакомым о его положении. Сочувствия к нему ни у кого, правда, не было, но это не помешало, однако, сделать для него подписку, по которой собрали пятьдесят рублей. Он, между тем, уже уехал. Мне привезли почтовую росписку об отправке ему этих денег в Томск, в тамошнюю экспедицию о ссыльных и просили передать ее Крупскому, если я увижу его в дороге. Он был назначен на поселение в Красноярск, и должен был отправляться туда с партией.

Партия эта вышла из Тобольска 12-го января, а я выехал вечером 27-го, то есть через две недели; но то, что партия сделала пути в эти две недели, я мог проехать в сутки с небольшим. По этапному маршруту я мог рассчитывать, что застаю Крупского на ночлеге в деревне Ачимове, кажется, или Ачилове, верстах в трехстах от Тобольска.

На станцию эту я приехал на вторые сутки, часов в пять утра. Было еще совсем темно. Я заказал поставить себе самовар, чтобы не будить Крупского так рано, напился сначала чаю и потом попросил хозяина станции дать мне сани, чтобы съездить в этап, так как был он совсем на другом конце деревни, именно, на том, который мы уже проехали.

Часов около шести мы с Берниковым усаелись в глубокую кошеву и отправились. Все еще было темно; морозило крепко.

В деревне пахло уже дымом, но за серым тыном этапа всё еще спало крепким сном. Берников добился, что нас впустили во двор, и мы пошли к офицеру.

На стук наш в дверь нам скоро отворила полуодетая женщина, повидимому, только что начинавшая подниматься с постели. Она без всякого спроса ввела нас в прихожую, бывшую в то же время, кажется, и кухней. В большой русской печи, занимавшей значительную часть ее, тлелся огонек. Баба, впустившая нас, накинула на него лучины, и свет облил и ее и нас.

— Вам кого? Поручика?

Я объяснил ей, что поручика, пожалуй, и не нужно, если можно без него увидетъся с одним пересыльным — «из дворян, поляком».

— Да это знать тот, что у барина ночует. Я пойду, их разбужу.

И она пошла. Почти тотчас же выбежал ко мне Крупский в полушубке своем и босиком.

Я вошел вместе с ним в следующую, маленькую комнатку, где застал еще в постели молодого этапного офицера. Крупский спал на диване; тут лежала его подушка. В этой горенке заключалась, кажется, и вся квартира офицера. Тут был, кроме кровати, и его письменный стол, и шкафчик в углу с посудой. Это была своего рода тюремная келейка. Офицер, вероятно, недавно был на месте, не успел еще обжиться со своей должностью, и на нем не лежало печати той грубости, которую я замечал на всех этапных офицерах, встречавшихся мне.

Бедный Крупский был полубольной, распростуженный. Он и похудел заметной и сильно кашлял. Это был первый офицер по дороге из Тобольска, приютивший его у себя на квартире.

Тобольские предвестия оправдались. На каждом привале ему делали затруднения относительно лошадей, говорили, что если-б в его кибитке можно еще было помещаться четверым, так лошадь бы, пожалуй, и дали, а то плати, да и не просто прогоны, а дороже. Решившись отказывать себе в чемнибудь другом, Крупский купил себе лошаденку. Тут пошли опять неудобства, как ее кормить, и опять расходы. Он продал лошадь, и опять на каждом привале приходилось ему выслушивать недовольные речи и платить из своего скудного кошелька. Он жаловался на грубое обращение этапных офицеров, на брань и даже на побои конвойных солдат и казаков. Только ачимовский офицер обещал снабдить его рекомендацией к начальнику следующего этапа, и это хоть отчасти могло успокоить Крупского.

Мне было очень жаль его и досадно, что я не мог ничем помочь ему. Еще в Тобольске думал я, нельзя ли бы мне было довести Крупского до места назначения в моем возке; но об этом и думать было невозможно, как мне сказали люди, от которых это зависело.

С грустным чувством простился я с Крупским, и он часто приходил мне на мысль, когда я начинал или досаждать на неудобства помещения в дороге, или на холод и угар станции, или на мороз и ветер. Какой еще я был счастливiec в сравнении с ним.

Дорога от Тобольска шла такая же дурная, если не хуже, как и к нему. Такие же станции, то холодные и полные синего чаду, то теплые до чрезвычайности и довольно уютно прибранные. Станционные смотрители и писаря стали чаще попадаться из поляков. Найти чегонибудь поесть было бы трудно, если бы меня в Тобольске не снабдили разными запасами—бураком или, по здешнему, «туесом» с мороженными щами, пельменями, пирожками.

Разнообразие дороги заключалось и здесь в том, что где было больше ухабов, где меньше. Сваливаться на бок с возком, ломать оглобли, разбивать при этом стекла приходилось не раз. Под конец я уж забил два окна наглухо войлоком.

Проехали мы несколько жалчайших городов: Тару, на половину татарскую, Каинск, Колывань. Наконец, близко уж и Томск, половина пути.

Надо было хоть немножко отдохнуть от ухабов и холоду. На предпоследнюю к Томску станцию мы приехали вечером, и тут ночевали, отправившись на так называемую земскую квартиру. Здесь написал я тебе письмо, которое на другой день отправил из Томска. Я сначала не хотел было писать с дороги, но расчел, что из Иркутска ты не получишь моего поздравления с днем рождения. К несчастью, как я вижу из твоих писем, ты и томского письма моего не получила. А по моему расчету оно должно было придти как раз во время. Я адресовал его через Пского.

На другой день, в десять часов утра, я был в Томске. Я рассказываю все мелочи только для тебя, и знаю, что ты не соскучишься над ними, как соску-

чился бы всякий другой, как соскучился бы их описывать сам я, если бы писал не по твоему желанию и не для тебя. Я, как ты знаешь, никогда еще не занимался так долго своею особой, но до конца моих рассказов уже не далеко, и я стану продолжать и кончать, как начал.

Так как мне нужно было запастись какою-нибудь провизией в дальнейший путь, то я остался в Томске часа на три, на четыре. Берников, отправленный за покупками, считал неудобным не явиться к местному штаб-офицеру, будто бы для просьбы пробить в городе нужное нам время. Иначе он мог попасться ему на глаза и навлечь против себя какое-нибудь неудовольствие. Я не имел, конечно, ничего против его намерения. Оставшись в гостинице «Золотой Якорь», при которой находилась и станция, я принялся от скуки играть на бильярде с другим жандармом.

Явки Берникова к штаб-офицеру было достаточно, чтобы обо мне узнали в городе еще в десяти местах. Сначала пришел ко мне один молодой человек, которого я не узнал. Это был К., с которым я познакомился в Уфе, где он был тогда семинаристом, давал уроки в одном знакомом мне доме и собирался ехать не то в академию, не то в университет. Этому уж лет шесть-семь. Теперь он учителем в Томске, в гимназии. Пришли еще два молодых человека, которых имен не помню. Заехал совершенно неожиданно сам голубой штаб-офицер, толстый, заплывший господин, с предложением, не хочу ли я остаться в Томске подольше, день, два, не имею ли каких желаний. Я имел желание, чтобы он убирался поскорее, но его по деликатности не высказал. Он, впрочем, и сам пробыл не более десяти минут. Более всего был я доволен приездом ко мне управляющего томской экспедицией о ссыльных. Я мог попросить его о выдаче Крупскому на руки денег, присланных в Томск, и он любезнейшим образом обещал мне это.

Позавтракавши или, пожалуй, пообедавши в гостинице, мы двинулись далее. Через двое суток переехали мы границу Западной и Восточной Сибири, отмеченную двумя кабаками по ту и по эту сторону.

В унылом городе Ачинске, первом восточно-сибирском, где я и извозка не хотел вылезать, оказался почтмейстером мой земляк и прислал просить меня войти на станцию. Я зашел и напился чаю в его семействе, которое всё провожало меня потом до экипажа и напутствовало самыми хорошими желаниями.

Та же дорога с ухабами и метелями потянулась до Красноярска. Здесь я решился пробыть подольше, чтобы видиться с Петрашевским. Он, как ты знаешь из «Колокола», попал в немилость у Муравьева ²⁾, за то, что говорил против скверной истории Беклемишева и — не помню, как зовут его жертву. Петрашевского выслали из Иркутска, а Беклемишев, вместо того, чтобы попасть в соседство ко мне, в каторгу, назначен, как я видел в последних газетах, вице-губернатором

²⁾ Муравьев-Амурский, граф Николай Николаевич (1809 — 1881), с 1847 г. по 1861 г. — генерал-губернатор Восточной Сибири.

в Саратов ¹⁾. Муравьевское начало не умерло с ним. Для замазки разных щелей и трещин своего ломового управления, он посадил на свое место невежду и глупца Корсакова ²⁾, своего родню и креатуру, быстро выскочившего в генералы, разве по способности своей скакать тысячи верст на курьерских для безгласного и точного исполнения самодержавных повелений своего патрона.

В Красноярск приехал я по утру 7 февраля. Станция находится там при гостинице. Толстый, улыбающийся немец Иван Иванович вышел встречать меня и объявил, что меня давно уже ожидают, и многие желали бы со мной видиться. Первым вопросом моим было, здесь ли Петрашевский. Немец отвечал утвердительно и обещал немедленно послать известить его.

Не успел я вполне разоблачиться от дорожных шуб и шарфов, как у меня оказалось уже четверо гостей. Один был местный казачий офицер, брат известного мне по имени издателя какого то маленького журнала, «Вазы» или «Северного Цветка»; трое остальных были проезжие в Петербург, офицеры же с Амура. Из них особенно заинтересовал меня моряк, капитан-лейтенант С[ухомлин] ³⁾. С его парохода или фрегата бежал Бакунин. Корсаков, получивший сильную головомойку из Петербурга за этот побег, вздумал было задержать С[ухомлина] в Иркутске, пока не кончится следствие. Но С[ухомлин] ехал с семьей, по требованию своего начальства, и не мог терять ни времени, ни денег на праздное житье в корсаковской столице. Пришлось ограничиться вопросными пунктами и отпустить капитана дальше. Да и какое тут следствие, когда у Бакунина был открытый лист для проезда, куда он хочет, за подписью того же Корсакова? Умеренные прогрессисты в Иркутске находили, что Бакунин поступил нехорошо, изменив честному слову, которое он дал Корсакову, что не убежит. Я в этом случае не совсем согласен с умерен-

¹⁾ О жизни и деятельности М. В. Петрашевского в Сибири, об его отношениях к Н. Н. Муравьеву и проч. см. статьи: В. И. Семеновского, М. В. Буташевич-Петрашевский в Сибири— „Гол. Мин.“ 1915 № № 1, 3, 5 и Вяч. Полонского, Крепостные и сибирские годы Мих. Бакунина — „Красн. Новь“ № № 2—3 (1921).—М. И. М-в говорит о дуэли 16 апр. 1859 г. между членом Совета Главн. Управления Вост. Сибири Беклемишевым (любимцем Муравьева) и чиновником особ. поручений Неклюдовым, окончившейся смертью последнего. Дуэль эта, происшедшая при довольно неясных обстоятельствах, произвела огромное впечатление, усиленное статьями в „Колоколе“ („Под суд“ № 2 от 15 ноября 1859 г.). Петрашевский стал во главе агитации против Беклемишева и произнес над могилой Неклюдова речь, в которой назвал дуэль—„изменническим убийством“. Указанное обстоятельство, отрицательное отношение Петрашевского к самому Муравьеву и резкие статьи его в газете „Амур“ повлекли за собою высылку Петрашевского в марте 1860 г. из Иркутска. Обо всех этих обстоятельствах см. в указанных статьях В. И. Семеновского и В. Полонского; там же приведена более подробная библиография.

²⁾ Корсаков, Михаил Семенович (1826—1871), с. 1861 г. по 1870 г. генерал-губернатор Вост. Сибири. О его „курьерских заслугах“ писал в официальных бумагах и Петрашевский— см. „Гол. Мин.“ 1915, № 5, с. 44—45 примеч.

³⁾ Капитан-лейтенант Сухомлин, командир клипера „Стрелок“, преданный суду за разрешение, данное им Бакунину, кересеть на купеческое судно, на котором он и уехал в Японию.

ными прогрессистами, и—если бы считал полезным для себя—поступил бы на месте Бакунина точь в точь так ¹⁾).

Скоро пришел ко мне и Петрашевский. Не знаю почему, я воображал его человеком совсем иной наружности, чем каким увидел. Портрета его мне не случилось видеть; говоря о нем с некоторыми из тех, кто были сосланы по его делу, я как то не спрашивал о его наружности,—и он представлялся мне высоким, худым, с резкими и строгими чертами лица, да вдобавок еще блондином. Я не могу понять, почему составилось у меня такое о нем представление. Разве, не на основании ли читанных мною в «Колоколе» официальных бумаг его²⁾, наполненных юридическими тонкостями, к которым был я всегда так холоден, пока теперешнее мое дело не показало мне, что я поступал неразсчитливо, пренебрегая знакомством с дичью, именуемую законами Российской империи. Впрочем, едва ли мое представление о Петрашевском составилось не раньше. Я увидел совершенную противоположность тому, что ожидал.

Петрашевский не высок; он среднего роста, и не худой, а очень полный. Походка его напомнила мне отчасти походку Герцена, и в самой фигуре его есть с ним сходство. Черты лица его довольно правильны, мягки и приятны. Большие черные глаза, очень выпуклые, обличают в нем сразу говоруна, и он, действительно, говорит много и хорошо; но, вероятно, именно потому, что много и хорошо, речь его полна противоречий. На голове у него осталось уже мало волос—перед весь голый, и только сзади низко опускаются на воротник сюртука их поредевшие черные пряди. Большая, что называется, апостольская борода, напротив, еще очень густа; по ней длинными белыми нитками прошла уже седина ³⁾. Одет он был во всё черное. И сюртук, и жилет, и панталоны—всё было очень потерто и замаслено, и обличало не совсем-то блестящие его обстоятельства. Оно так и было действительно, как я слышал впоследствии.

Видевшись с ним всего один день, я не могу, разумеется, сказать о нем многого; но общее впечатление было для меня приятное. Я нашел только, что местные интересы, в которых Петрашевский принимал участие (разумеется, только словом), в последнее время своей ссылки ⁴⁾, разные иркутские интриги и дела,

¹⁾ Об обстоятельствах побега Бакунина из Сибири, об его отношениях к Муравьеву и вообще о его поведении в Сибири—см. ст. В. Полонского, Крестные и сибирские годы Бакунина—„Красн. Новь“ № № 2 - 3 (1921), а также статьи Глянского, „Ист. Вестн.“ 1908 № 3 (М. А. Бакунин и его бегство из Сибири), Казаринова. Там же, 1907, № 7 (Побег Бакунина из Сибири) и Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. СПб. 1907. (Перепеч. с пропусками с заграничного издания).

²⁾ Официальные бумаги М. В. Петрашевского (прошение министру внутренн. дел и др.) по поводу его незаконной высылки из Иркутска, напечатаны в „Колоколе“ 1861, № № 92 и 93.

³⁾ Ср. портрет М. В. Петрашевского, приложенный к ст. В. И. Семевского „Гол. Мил.“ 1915, № 1.

⁴⁾ На борьбу с сибирской администрацией М. В. Петрашевский смотрел, как на свой общественный долг. (См. статью В. И. Семевского—„Гол. Мил.“ 1915, № № 3 и 5) „Fiat justitia, pereat mundus“—его любимый девиз—пишет о нем близкий его товарищ по ссылке, Ф. Н. Львов.—„И в Петербурге, и в ссылке везде он цеплялся за законы и ста-

как будто, заслонили от него интересы более широкие и общие. То, что для человека нового представляется не более, как местными провинциальными дразгами, для него, при постоянном столкновении с здешними властями, приняло слишком большие размеры, и заставило, как будто, отчасти забыть о том, что сердиться следует на причины, производящие дурные явления, а не на самые явления. Слушая Петрашевского, я, признаюсь, не раз подумал, что было бы очень грустно, если бы тесный круг местных интересов успел со временем втянуть и меня в свои границы. Повторяю, все эти интересы входят лишь как ничтожная доля в ту общую систему какого управления и нашей жизни, против которой одной борьба не безплодна. То же сужение понятий от долгой жизни в ограниченной и жалкой среде проявил и товарищ Петрашевского Львов¹⁾, в своих «Выдержках из воспоминаний ссыльно-каторжного», вторая часть которых дошла ко мне лишь недавно. Меня просто возмутило то место, где он говорит о действии ссылки на политических преступников. Надо слишком и поверхностно, и мелко всматриваться в окружающую жизнь, чтобы дойти до таких ограниченных взглядов. Ты статью Львова, конечно, читала, и, вероятно, помнишь это место. На него нельзя не обратить особенного внимания в статье именно бывшего «политического преступника». Рассуждать об исправлении зла «последовательными реформами при помощи служебной или открытой общественной деятельности», толковать о развитии гражданского чувства, откладывая в долгий ящик «последовательных реформ» (иначе «медленного прогресса»), «благие учреждения», которые одни создают граждан,— всё это мог говорить другой Львов, автор знаменитой комедии с добродетельным становым приставом, или не менее знаменитый герой соллогубовского «Чиновника»²⁾; но слышать эти речи от «ссыльно-каторжного» Львова не только досадно, но и тяжело и грустно. Если бы еще он говорил об этом изменении во взглядах «политических преступников», как о развращающем влиянии житья в ссылке,—а то ведь это, по его мнению, хоро-

рался на основании их доказать или несправедливость, или нелепость какого-нибудь действия или постановления. Отсюда пронесли его процессы с Перовским за городские выборы и протесты на эшафоте, в Шилке, на Нерчинском заводе, в Иркутске и проч.» (В. И. Семевский, „Гол. Мин.“ 1915, № 3, с 51—52).

¹⁾ Львов, Федор Николаевич (1823—23 мая 1885) шт.-кап. Егерского полка, „за непосредственное участие в преступных намерениях к произведению переворота в общественном быте России и за принятие участия в совещаниях о составлении тайного общества“ (по делу Петрашевского) лишен всех прав состояния и сослан в каторжную работу на 12 лет. О встрече с ним в Иркутске М. И. М.—в рассказывает в следующей главе. О жизни Ф. Н. Львова в Сибири, вместе с М. В. Петрашевским, много говорит в своей статье В. И. Семевский („Гол. Минувш.“ 1915, № 1, 3, 5).—М. И. М.—в говорит ниже о его „Выдержках из воспоминаний ссыльно-каторжного“, напечатанных в „Современнике“ 1861, кн. 9 и 1862, кн. 2.

²⁾ Львов, Николай Михайлович, (1821—1872), автор комедий „Свет не без добрых людей“ (1857) и „Предубеждение или не место красит человека, а человек—место“. (1858). О второй комедии и говорит М. И. М.—в.—Гр. Влад. Ал.—др. Соллогуб (1814—1882) в 1857 г. написал обличительную комедию „Чиновник“, имевшую шумный успех, благодаря речам главного героя Надимова против взяточничества.

шая сторона ее, хорошее и благое влияние. Кстати замечу, что вся вторая статья Львова (первой я не помню) показывает, что он совершенно не знаком даже с общим характером мест и людей, посреди которых привелось ему прожить так долго, или не умел всмотреться в смысл окружавших его явлений и только наблюдал их внешнюю сторону. Можно, пожалуй, было бы извинить жалкую ничтожность этой статьи недостатком таланта, но ведь в ней нет дела, а уж это не зависит от таланта. Я заговорил о статье Львова именно потому, что нечто в роде того не совсем веселого чувства, которое испытал я, читая ее, проходило иногда по моим нервам и при разговоре с Петрашевским. Нет, что ни толкуй, а горе и лишения ссылки взяли таки свое, печать их осталась, и, мне кажется, первое, о чем должен постоянно думать и стараться всякий сосланный за политические убеждения,—это вырваться отсюда и окунуться в поток более широкой жизни.

Львов говорит об уме «охлажденном и опытом, и зрелостью возраста», как о шаге вперед от горячего и страстного энтузиазма молодости. Да ведь это просто притупившиеся от слишком слабых потрясений нервы. Не желал бы я себе такой зрелости, хотя, может быть, уже и теперь для нового подрастающего племени я—человек отживающий. Как на одно из важных противоядий нашей провинциальной малярии смотрю я на свою возможность уходить от пошлости наших житейских отношений в чисто умственную деятельность,—и я считаю себя счастливым, что могу заниматься литературным трудом.

Я никогда не работал так много, как теперь, в эти два—три месяца, как поселился в Казаковском золотом промысле, и как бы ни ничтожны были плоды этой работы, я уверен—они полезнее и для общества, и для моего личного достоинства, так называемой «борьбы» с местными обстоятельствами. Эта борьба сильно граничит с тем, что на более простом языке называется дрягами, кляузами, сллетнями—и мало ли еще чем. Вот почему я особенно доволен, что не остался в Иркутске, а попал сюда в глушь. Замечательно, что только те из политических преступников, бывших здесь, оставили по себе действительно полезное влияние, которые действовали словом, брались за воспитание или вообще старались проводить в сознание молодых людей основные начала нравственности и гражданских обязанностей человека ¹⁾. А те, что вступали в ряды местных «борцов», от пропаганды обращались к делу, только низводили и свои лучшие стремления, и свое личное достоинство к тому уровню, где они теряли всякое высшее значение, а потому и влияние; да и сами деятели мало по малу начинали мельчать и всё более суживать свои нравственные интересы. Да и какая тут борьба для человека, поставленного своим положением политического преступника вне всякой общепризнанной деятельности, когда и в сфере то более широкой у нас «удел разумной жизни», как выразился Добролюбов: «для блага родины страдать по пустякам».

¹⁾ В последней главе „Записок“ М. И. М.—в говорит о своих ежедневных занятиях в школе, которую он основал на Казаковском промысле.

То, что я наговорил, было предметом нашего довольно продолжительного спора с Петрашевским. Я только из его слов узнал о всех неприятных столкновениях, которые риску я испытать, оставаясь в Иркутске. Если бы я не слышал этого предупреждения о тамошних полицейских надзорах, о шпионстве, подпечатывании писем, о доносах, то достаточно было мне пробыть в Иркутске два-три дня, чтобы не хотеть оставаться там даже при согласии на то местного начальства. Только живя в совершенной дали от общества (как теперь и делает Львов), можно еще там сделать сносною свою жизнь. То, что именуется на иркутском наречии политическими неприятностями, есть ни что иное, как мелкие сплетни, раздражающие человека хуже, чем «по пустякам».

Петрашевский советовал мне ехать в Нерчинский округ, где менее будет для меня стеснений, и, для подтверждения его слов, повидаться в Иркутске со Львовым. Я сделал бы последнее и так, но чтобы увидеться с ним поскорее, взял у Петрашевского записку. Он обедал у меня в этот день; вечером располагал я уехать, но это не удалось. Один из моих жандармов, Николаев, отпросился у меня к каким то своим знакомым и воротился домой пьян, как стелька. Я остался почевать.

После обеда Петрашевский уходил на час домой и потом опять пришел, и на этот раз не один, а с тремя молодыми людьми, которых откомендовал мне, и при них, и заочно, как лучших из здешней молодежи. Признаюсь, грустно мне было за Петрашевского, когда эти лучшие представители молодого поколения города Красноярска сидели у меня с ним вечером. Это были, может быть, и даже вероятно, очень добрые молодые люди, но...

И тут я узнал о существовании секретного циркулярного предписания министра внутренних дел к губернаторам, от 2-го декабря, не выдавать литератору Николаю Чернышевскому заграничный паспорт. Это известие поставило меня в тупик; я решительно не знал, как объяснить его, и отчасти усомнился в его верности; но молодой человек, от которого я слышал об этом, прислал мне на следующее утро и номер, и дату предписания, с подтверждением, что дело идет именно о литераторе Николае Чернышевском.

Петрашевский пришел проводить меня, и я отправился из Красноярска часов в одиннадцать утра.

— До свидания—в парламенте!—сказал мне на прощанье Петрашевский.

«Блажен, кто верует, тепло ему на свете», думал я не раз, когда припоминал об этом прощании.

Николаев не успел протрезвиться и был посажен на козлы. Дорога пошла лучше и поглаже, и мы ехали очень хорошо почти до самого Иркутска, уже нигде не останавливаясь¹⁾. На последнюю станцию прибыли мы уже ночью, часу в первом, на пятые сутки по выезде из Красноярска. Надо было и тут, как перед Тобольском, обождать утра, и я прилег было в станционной комнате. Но спать тут от холода было невозможно. На дворе стоял сильный мороз, а дверь, выходящая прямо на крыльцо, без сеней, безпрестанно отворялась. Пришлось

¹⁾ Тут города Канск и Нижнеудинск.—Примечание М. И. Михайлова.

поискать себе другого ночлега, и мы отправились в так называемую земскую квартиру, довольно тесную, но за то теплую избу, где и расположились.

Только что начало светать, горлан петух крикнул у меня под самым ухом, и я вскочил с испуга. Он не умолкал, выглядывая из-под печки, и мы стали вставать.

Я забыл сказать, что по распоряжению тобольского жандармского полковника меня следовало отправить из Тобольска опять-таки в кандалах. Впрочем, и распорядился, чтобы они были на замочках, и я мог снять их тотчас по выезде из города. Перед въездом в Иркутск следовало их опять надеть на меня. Но я не исполнил ни того, ни другого,—и они ехали со мной в мешке с другими арестантскими принадлежностями. Жандармы подтверждали меня в убеждении, что их не следует надевать. Да и замочков то у нас не было.

В половине двенадцатого утра 13-го февраля я был в Иркутске перед воротами исправляющего должность военного губернатора.

IX.

Иркутская тюрьма.

В Иркутске, как и в Тобольске, пришлось мне не мало поездить, прежде чем я попал в свойственное мне место, то есть в острог. Меня привезли к исправляющему должность военного губернатора, а не к генерал-губернатору ¹⁾, согласно принятым правилам. Его уже не было дома. Он был в губернаторской канцелярии. Ко мне вышел какой то чиновник, вроде писца, и поехал вместе в канцелярию. Там мне тоже пришлось подождать, пока не пришел откуда то господин Шелехов. Пока я дожидался в приемной, похожей на дрянную прихожую, я думаю, все чиновники канцелярии прошли мимо меня один за одним, с любопытством оглядывая меня с головы и до пяток.

Наконец, явился и Шелехов, штатский господин, полный и несколько аляповатый с виду, и попросил меня в присутствие. Там никого еще не было, но когда мы входили, за нами следом вступил какой то трясучий старик в генеральском мундире.

— Позвольте попросить ваше превосходительство повременить немножко, сказал ему Шелехов.—Мне нужно поговорить одному.

Старик ретировался, и когда двери за ним затворились, Шелехов с каким то несколько чичиковским видом протянул мне руку и начал говорить нечто о том, что «понятно, что мы все вам сочувствуем».

Он спросил меня, куда я желаю быть назначенным, в Нерчинский ли округ, или на ближайший к Иркутску, но глухой, не помню, как называющийся, завод. Я, разумеется, упомянул о том, что меня неверно причислили к первому разряду,

¹⁾ Генерал-губернатор Восточной Сибири М. С. Корсаков;—о свидании с ним М. И. М.-в. говорит ниже.

что по всей справедливости меня можно бы назначить в один из иркутских заводов, и что я—уж если хотят знать мое желание—желал бы остаться в соляренном заводе Усолъе, в сорока верстах от Иркутска. Шелехов обещал просмотреть внимательно мои бумаги и поговорить с Корсаковым.

Кстати замечу, что Шелехов занял временно должность военного губернатора после Венцеля, того самого Венцеля, который теперь сенатором и был в числе моих судей, а на место его назначается, или уже назначен теперь, Щербачкий, тот самый Щербачкий, петербургский полицеймейстер, который был у меня при втором моем обыске. Вот и еще, пожалуй, в этом роде сближение: бывший у меня в Томске жандармский полковник (кажется, Герасимов) сообщил мне, между прочим, что у него есть близкий родственник в Третьем Отделении, а именно—Бранц, тот самый Бранц, который и проч. Не правда ли, какие все милые и отрадные напоминания?

Но не в том дело.

Шелехов сказал, что он послал уже за полицеймейстером, который сейчас придет и свезет меня в тюрьму, где отведут мне возможно лучшее помещение; а между тем просил меня обождать в одной из комнат канцелярии, что то в роде бухгалтерской, куда и проводил меня.

Мне точно пришлось недолго ждать. Приехал полицеймейстер, высокий, несколько худощавый офицер с зарумянившимся лицом и нехорошими, не то наглыми, не то, как будто, пьяными глазами. Он расшаркался по гвардейски и сказал, чтобы я садился в свой возок, и велел ехать вслед за ним. Он поскакал вперед на своей паре, с горластым по-полицейски кучером. Моя тройка не скоро догнала его. Мы выехали за город, и я увидал белое здание классической постройки, напоминавшее мою тобольскую резиденцию. Пара полицеймейстера подкатила, впрочем, не к этому зданию, а к жалкому деревянному, тоже значительных размеров, строению, и мы въехали за нею под ворота, где оказался тоже часовой при будке. Это был старый острог, теперь упраздненный больше, чем на половину.

Шатким деревянным крыльцом и темными деревянными сенями, в роде коридора, прошел я в квартиру жившего еще тут смотрителя, куда вошел еще до моего приезда полицеймейстер.

— Вот-с, вы здесь и поместитесь, в этой комнате, обратился ко мне, также ловко расшаркиваясь, полицеймейстер. Извините, пожалуйста. Это лучшее помещение, какое мы можем предложить вам. Всё, что вам угодно будет, вы можете получить от господина смотрителя. Вот-с он. Это его квартира.

Я занюхнул было, что ведь это ему стеснение, и что лучше отвели бы мне просто номер в секретном или в дворянском отделении; но таких номеров, годных для жилья, не оказывалось,—и полицеймейстер сказал, что этой комнатой смотритель почти не пользуется, и она существует, собственно, на такие случаи, как настоящий. Комната с трех окон смотрела светло и весело, и уже, конечно, в остроге не найти мне было другого такого помещения.

Смотритель был маленький, сухонький человечек, средних лет, с какою то особенно серьезною, даже и при частых своих улыбках, физиономией, с застегнутым на все пуговицы мундиром, гражданском скрутке.

Полидеймейстер спросил меня, не желаю ли я передать чегонибудь генерал-губернатору, и после отрицательного моего ответа удалился, обещая заезжать. Я сказал, что хочу пробыть здесь несколько дней, как для того, чтобы отдохнуть от дороги, так и для справок по своему делу.

Жандармы внесли мою поклажу и откланялись со мной, смотритель расспросил меня, чего я хочу к обеду и скоро ли, и тоже удалился.

В первый еще раз после отъезда от Аларчина моста был я в таком опрятном и веселеньком помещении, хотя, как потом оказалось, оно было во многих отношениях далеко стеснительнее для меня, чем моя тобольская конурка. Зато первое впечатление было приятное. Ничто не напоминало мне, что я в тюрьме. В окна, драпированные скромными, но чистыми белыми кисейными занавесками, ярко светило солнце; все они были заставлены цветами; в соседней комнате распевала канарейка. С десяток стульев, три стола и диван составляли меблировку комнаты. Я был доволен и тем, что усну на диване после тюремных коек, хотя он был и жестче их соломенных тюфяков. Я принялся раскладывать свои вещи и только что успел кончить, как мне принесли заказанный мною обед (суп, жареную баранину и гречневую кашу с молоком). Кухарка смотрителя Арина, лицо интересное. Это была небольшого роста баба лет за сорок, с круглым, апатичным несколько, обрюзгшим лицом, с повязкой на голове и вечно растрепанная. Она постоянно обслуживала мне: подавала утром и вечером чай, топила печь и мела комнату.

В первый приход ко мне она была молчалива, но со второго же не делала шагу ко мне без того, чтобы не начать то вздыхать, то стонать, говоря, что вот ее какое горемычное житье, что здесь всё не так, как «у нас в России». И дрова тут не такие, и печка не так устроена, и хлеба не умеют так печь, и люди не такие обходительные, и веники не такие — полне столько выметешь, сколько насоришь.

— Ах, барин, барин! Знали бы вы только мою-то долю, — стонала она. — Вы, ведь, тоже российские. Сами знаете, такая ли у нас в России жизнь.

Я расспросил ее подробно, как она попала в Сибирь.

— Да ты откуда?

— Из Ярославской губернии, барин. Господские мы были, да я двенадцать лет скрывалась. Ушло нас от помещика-то десять человек тогда. Управляющий больно был лютой. Ну и ушли. По разным все городам. Паспорты себе фальшивые выправили. Я вот, всё по хорошим господам нанималась. В Нижнем жила, в Казани, — где в прачках, где в стряпках. Двенадцать лет так-то скрывалась.

— Замуж не вышла?

— То-то и глупа была, барин, что не вышла. Жила бы теперь на всей своей воле. И женихи были, да глупость всё... Думала, девка всё вольнее бабы, а теперь вон куда попала, в экую волюшку. Ох, ох! И тоже всё от глупости от своей.

— Да как же?

— А вот поверила, стали везде говорить — воля всем господским объявлена. Я и подумай пойти на село к нам. Что же, уж не молодой я человек! Помереть-то хоть бы любо дома-то. Ну, пришла, объявилась. Думала, примут меня; ан, за-

место того, меня сюды, с арестантами на поселенье, значит. Больше году мы, барин, шли. Вот попала как сюда, смотритель и взял меня к себе — на другой же день стряпать заставил. Скоро третий уж месяц пойдет. И как у него этикие жонки живут, на каком-то есть положении, ничего этого мне неизвестно. Жалованье, что ли, какое положится, или как. А то отправят, что ли, куда. Здешние-то вот тоже сказывают: так, говорит, тут и помремшь. Ох, барин, жизнь мне не мила стала. Уж и помирать-то, так скорее бы. И вся-то эта воля, сказывают теперь, одни сказки. Много тоже сюда господских-то гонят. А я-то дура и поверь! Где уж воле быть? Захотели от каменного попа железной пресвиры. Всех, слышь, опять на барщину посадили, да и пуше прежнего томят.

Если бы можно было из двух примеров выводить общее правило, я сказал бы, что смотрители тюремных замков отличаются формализмом. Иркутский смотритель был не лучше в этом отношении тобольского Захара Ивановича. Он исполнял строжайшим образом приказ полицмейстера, не допускать ко мне никого без его записки. А записок он, как после оказалось, никому не давал, кроме таких лиц, которые могли бы иметь доступ в острог и без его позволения.

В первый же день по приезде, были у меня вскоре после моего раннего обеда Кретчер, а вечером Малиновский, который так обрадовал меня твоим письмом. Я ждал с таким томительным нетерпением вестей обо всех вас, что готов был и плакать, и скакать от радости. Потом он привез мне и еще твое письмо, неделю спустя!

Кроме этих двух гостей, да еще Дадешкильяна ¹⁾, молодого доктора, я не видал в своей комнате никого из людей, которые могли бы доставить мне удовольствие своим посещением. Зато самым безпрепятственным входом пользовались ко мне господа, с которыми у меня не было ничего общего, как, например, временный губернатор Шелехов, инспектор врачебной управы, какой то нелепый глухарь, да два старика, знакомых моего отца. Можно, пожалуй, к этому числу отнести и полицмейстера, очень деликатного и развязно-глупого, да жандармского штаб-офицера, который тоже считал своим долгом навесить меня два раза. Мне рассказывали, что он после первого же визита ко мне отправился к Корсакову, с просьбой позволить ему взять меня на поруки и отвести мне частную квартиру. Я уж не знаю, что подвигло его к такому поступку, но не думаю, чтобы у него был злой умысел. Мне он ничего не говорил об этом и только находил, что у меня помещение не хорошо, и что, вообще, неприятно жить в остроге. Корсаков отказал ему, не справившись, захочу ли еще и я то быть на поруках у жандарма.

Полицеймейстер, заехав ко мне на другой день, сообщил мне, что Корсаков поручил ему сказать мне, чтобы я отдохнул пока; кстати же теперь масляница. А на первой недели поста рассмотрят мои бумаги, и тогда можно будет

¹⁾ Оказал впоследствии огромную услугу М-ву и Шелгуновым, предупредив их во время о готовящемся приезде на Казаковский промысел жандармского полковника Дувинга. — См. Л. П. Шелгунова, Из далекого прошлого. СПб., 1901. с. 117—118 и П. А. Кропоткин, Записки революционера. Лонд., 1902, с. 163 (рус. изд. 1906, с. 154—155). К слову сказать, Кропоткин сообщает много неверных сведений о жизни М-ва в Сибири.

решить, куда меня назначить. Заехав вскоре еще раз, полицеймейстер сказал мне что его осаждают просьбами о пропуске ко мне, но что он, не желая, чтобы меня ктонибудь беспокоил посещениями (вероятно, кроме него), всем отказывал, так что уж и просить его перестали. «Знаете, всё разные этакие восторженные молодые люди». Я не поблагодарил его за эту заботу о моем спокойствии.

Время в Иркутске прошло для меня очень скучно. Читать было нечего кроме «Петербургских Ведомостей»¹⁾, а писать целый день решительно не могу. Мне оставалось часто мерить из угла в угол мою комнату, как это я делал в Третьем Отделении и в крепости, или развлекаться разговорами с шестилетним сыном смотрителя, Кирей.

Я думал сначала, что его зовут Кириллом, но родитель его объяснил мне как-то, что Киря есть уменьшительное не от Кирилла, а от Кирика.

— У меня, видите ли, дети всё не жили, — добавил он, — так знающие люди посоветовали, если сын родится — Кириком назвать, а дочь — так Улитой. Вот-с и назвали его Кириком. Слава Богу, до сих пор мальчик здоровенький.

Только после этого объяснения обратил я внимание на один из образов в большом киоте в углу, где был изображен святой младенец Кирик с матерью своей преподобной Улитой.

Кирия приходил ко мне довольно часто, рассказывал, как он ездил с отцом кататься, приносил показывать свои игрушки. Раз, забравшись на диван ко мне за спину, в то время, как я сидел с номером «Ведомостей» в руках, он принялся заигрывать со мной, дергая меня слегка за волосы, и вдруг воскликнул:

— Отчего это у тебя столько белых волос?

Это было для меня совершенною новостью. Я подошел к зеркалу и, наклонившись к нему поближе, увидел действительно значительную седину в висках, где еще недавно не было ничего на то похожего.

В pendant к святым Кирику и Улите, я могу сообщить тебе, что память святого Феодора Тирона празднуется православною церковью 15-го февраля. Это драгоценное сведение получил я от моего тобольского спутника Берникова, который явился ко мне утром этого числа, как именинник, с огромным кренделем.

Я был очень доволен его приходом не ради кренделя, а ради того, что мог побранить его за неисполнение моего поручения — отнести записку Петрашевского к Львову²⁾. Я предполагал, что она не доставлена, потому что, от Львова не доходило ко мне, что называется, ни слуху ни духу. Берников уверял меня, что товарищ его Николаев ходил к Львову, но не застал его дома. О записке же он ничего не знал и обещал прямо от меня пойти к нему еще раз, и в тот же день дать мне знать.

¹⁾ С удовольствием прочел я здесь указ о награждении сенатора Григория Митусова орденом св. Александра Невского и мысленно поздравил его с монаршей милостью. — Примечание М. И. Михайлова. — Г. П. Митусов, один из судей М-ва; о нем см. четвертую главу „Записок“. Примеч. ред.

²⁾ О. Ф. Н. Львове — петрашевце — см. восьмую главу „Записок“, примеч. на стр. 137.

Действительно, он был у Львова и в этот же вечер принес мне от него такую записку:

— «Я порывался три раза к вам, но меня не пускают. Если можно будет, постараюсь на первой станции с вами свидеться. С высшими властями я не в ладах. Просить их — это значит, отдать себя под присмотр и помешать себе видеться с вами. В Нерчинских заводах вас ожидают, и вы будете назначены к брату на промысел ¹⁾; это мне известно наверно. На первое время, я думаю, вам лучше будет там, нежели в иркутском солеваренном заводе, потому что здесь скорее могут повредить вам доносы».

Предостережение Львова было совершенно справедливо. Это я мог понять и из разговоров с другими, достойными веры лицами, посещавшими меня. Повидимому, поведение Петрашевского и Львова в деле знаменитой (для Иркутска) дуэли ²⁾, поведение совершенно справедливое, потом бегство Бакунина — возбудили в глазах здешнего правительства недоверие вообще к людям в таком положении, как они, отразившееся и на мне. Корсаков мог оставить меня в солеваренном заводе, но не хотел этого. Мне сказывали, что за одним праздничным обедом влиятельные лица прямо толковали, что, оставив меня в Иркутске (чего, собственно, я и сам не хотел), наживешь только неприятности.

— Оп, де, будет драпироваться здесь в свое политическое преступление, захочет играть роль в обществе, составит себе партию и проч. в этом роде. — Гораздо вернее было, по моему, тоже переданное мне, мнение здешнего архиерея или архимандрита, что меня покарал Бог за то, что я «хотел снять узду с женщин» ³⁾.

Надо было постараться увидеться с Львовым. На сухого и дрянного смотрителя в этом отношении нечего было возлагать надежду: он берег меня, как цепная собака. Раз он вздумал не пускать ко мне даже таких посетителей, которые были уже у меня, и даже с запиской полицеймейстера. Я услышал громкие и крупные переговоры в сенях и вышел туда. Тут смотрителю нечего уж было делать, и он впустил гостей.

Я придумал поступить вот как. Поручил смотрителю спросить у полицеймейстера позволения погулять. Это позволение было мне дано, хотя я мог выйти не иначе, как в сопровождении казака во всей форме, чтобы всякий мог видеть, что это прогуливается арестант. Молодого доктора, который заезжал ко мне каждое утро, я попросил побывать у Львова и передать ему, что если он хочет

¹⁾ Петр Илар. Михайлов, инженер-поручик Нерчинского горного округа. У него жил и 2 авг. 1865 г., на руках его помер М. И. М-в. — Сведения о П. И. Михайлове — см. „Гол. Мин.“ 1915, № 9, с. 224.

²⁾ В комнате, которую мне отвели, содержались и лица, замешанные в это дело дуэли. — Примечание М. И. Михайлова.

³⁾ Популярны в 1860-х гг. статьи М. И. М-ва о женском вопросе собраны в книге „Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе“. СПб., 1903. — См. главу „Женский вопрос в его первой постановке“ в кн. Нест. А. Котляревского. Канун освобождения. Петр., 1916, с. 413 сл.

увидеться со мной, то выходил бы часа в три на встречу мне. Далеко уйти от острога я не мог, но мы могли поговорить на мосту по дороге в город.

Это удалось, как нельзя лучше. Я пошел в сопровождении казака и, только что вступил на мост, увидел издали небольшого господина в шинели и фуражке, который держал в руке белый носовой платок, видимо, желая дать этим знать мне, что он меня ожидает. Не правда ли, это таинственное свидание в Иркутске больше чем смешно после тех свиданий в Петербурге, которые были позволены мне официально? ¹⁾).

Когда мы сошлись и раскланялись, казак оказался на столько деликатен, что перешел от нас на другой тротуар моста. Мы пошли со Львовым дальше к городу, потом назад.

Мне приходится сделать по поводу свидания со Львовым такое же почти замечание, как и по поводу свидания с Петрашевским. Прежде всего о наружности: я опять-таки воображал и его не таким. Мне почему то казалось, что он должен походить на Плещеева; но это оказался маленький, худенький человек, не с особенно приятным лицом, исчерченным глубокими морщинами. Всё это не обличает во мне лафатеровских способностей. Представляя себе Петрашевского и Львова по тому, что было писано ими, я думал, что Львов должен быть для меня симпатичнее Петрашевского. Вышло совсем наоборот. Львов мне вовсе не понравился. Я говорю, конечно, о первом впечатлении, которое потом, может быть, изменилось бы. Ведь я пробыл с ним не более как полчаса. Мне не понравилась в нем какая то искусственность фразы, выражения, в которых проглядывало что то в роде фатовства. Я заметил и на нем, что он придает преувеличенные размеры своим враждебным отношениям к здешним властям. Вообще, местные интересы и его вовлекли в свой узкий круг, едва ли с пользой для его общего развития. Я опять-таки скажу, что, становясь в оппозицию действиям Муравьева, они поступали честно и хорошо; но эта оппозиция принимает в их глазах совсем не те размеры и не то значение, какие представляет на самом деле.

Львов передал мне также несколько сведений об ожидающей меня в Нерчинских заводах жизни и значительно уменьшил мои опасения. Разговор у нас шел довольно отрывочный; мы не могли в такой короткий срок ни поспорить, ни поговорить о чемнибудь серьезно.

Когда мы вернулись к концу моста, бывшему как раз против ворот нового тюремного замка, нас увидал оттуда караульный офицер и поспешно подошел. К счастью, это был хороший знакомый Львова и не сделал никакой придирки.

Больше уже мне не удалось видаться со Львовым. И это свидание устроилось лишь за три дня до моего отъезда из Иркутска.

Конец масленицы и начало великого поста были мне возвещены довольно оригинально. Я сидел утром в чистый понедельник за чаем, как ко мне распах-

¹⁾ М. И. М-в говорит о разрешении, данном петербургским генерал-губернатором Суворовым, проститься с ним близкими друзьями перед отъездом из Петербурга. Этим разрешением воспользовались: Н. В. Шелгунов, Я. П. Полюнский, А. Н. Пыпин, П. П. Пекарский, Н. А. Некрасов, Н. Г. Чернышевский, А. А. Серно-Соловьевич и Н. В. Гербель.

нулась дверь и буквально влетел толстый рыжеватый поп. Он поспешно поклонился мне и, не давши мне даже спросить его, зачем он, подошел прямо к переднему углу, вынул из под своей епитрахили требник и принялся громогласно читать что то об из'ятии меня «из рук хищного Велиара», и о том, что я, «в бездне греховной валяясь», вопию, ко Господу. Конечно, всё это относилось ко мне более, чем к кому нибудь, потому что у меня стоял на столе молочник со сливками. Поп, впрочем, заметил его, вероятно, уже потом, как отбарабанил свой урок и закончил его аминем.

— Это что же такое, батюшка?—спросил я его, когда он кончил.

— Молитва великопостная-с. Имею честь кланяться.

— Прощайте.

Эта великопостная молитва напомнила мне, что и моим делом теперь, вероятно, займутся по случаю конца праздников с их катаньями, вечерами и фоль-журнеями.

И точно, во вторник же приехал ко мне Шелехов с извещением от Корсакова, что я остаться в солеваренном иркутском заводе не могу, а должен по точному смыслу высочайшего повеления—отправиться в Забайкалье, в Нерчинский горный округ. Мне дадут лишь одного казака в провожатые и известят меня, когда все формальности будут кончены с тем, чтобы я сам назначил день от'езда.

С этим извещением, с расчетом денег и проч. заезжал ко мне раза два советник из экспедиции о ссыльных, и я назначил днем от'езда субботу, потому что хотел подождать еще письма из Петербурга. Расчет мой был верен, и точно Малиновский привез мне накануне от'езда еще письмо твое.

Я пока осмотрел свой возок, велел починить в нем кое-что, запаса кое-чем из с'естного на дорогу и переписал для отсылки к тебе сцену «Прометей». Ты, вероятно, получила ее лично, вместе с письмом, от студента Р., которого привез ко мне Бретчер.

Накануне от'езда приехал ко мне полицеймейстер с приглашением от Корсакова—приехать к нему. Я заметил было, что так как я уже не остаюсь здесь и не имею никакой просьбы к генерал-губернатору, то могу, кажется, и обойтись без этого визита. Но полицеймейстер сказал мне на это, что, кажется, у Корсакова есть что-то сообщить мне,—и я решился отправиться с ним. Кстати, посмотрю, что за зверь.

Корсаков принял меня очень вежливо, сказал, что не может переменить высочайшего повеления, что получил письмо от Суворова ¹⁾ о делании мне всякого снисхождения, и напишет в этом же смысле в Нерчинский завод, к горному начальнику.

До сих пор шло ладно, но Корсаков не сумел удержаться во время. Он начал вдруг говорить, как дурно зарекомендовали себя политические преступники, бывшие в Иркутске, как то Петрашевский, Львов и Бакунин, и кончил дружеским мне советом—не ссориться с будущим моим начальством и не жаловаться на него. И во всем, что он говорил, не было ничего умного, а тут уж он показался мне

¹⁾ Петербургский ген.-губерн. кня. А. А. Суворов написал это письмо по просьбе Н. В. Шелгунова.

совсем глупым. Я сдержал улыбку, но сказал, что, кажется, он меня слишком мало знает, чтобы выводить какие нибудь заключения о моем характере, а относительно будущих моих действий заметил, что они будут зависеть от хода дела, а уж никак не от чьих либо советов.

Корсаков увидал, что лучше будет просто пожелать мне счастливого пути, и сделал это. Затем проводил меня из кабинета в залу, где на вытяжку дожидался полицеймейстер, и меня с ним же вернули в острог.

В Корсакове я нашел сходство с Шуваловым, не столько в лице, сколько в манере и в голосе, и это, конечно, не произвело на меня особенно приятного впечатления.

В субботу 24 февраля, с утра был уже у меня казак; но мне пришлось еще посылать менять деньги, и я выехал только в два часа пополудни. Меня приехал проводить Малиновский.

Х.

От Иркутска до Нерчинского завода.

Жандармы, провожавшие меня из Петербурга и из Тобольска, показались бы голиафами перед казаком, отправленным со мной из Иркутска. Несмотря на свою чисто казачью фамилию,—Донской, он едва ли бы, впрочем, был способен выказать и давидовскую храбрость. Довольно будет сказать, что он чуть не головой был ниже меня и так жидок весь, что, кажется, я бы мог свалить его одним щелчком. Такого вялого, кислого, безсловесного и, надо полагать, безмозглого существа, не часто случалось мне встречать. Он мне просто опротивел на другой же день. Я спросил его, постоянно ли он в Иркутске; он ответил, что нет, а только что приехал с Амура. Я думал было порасспросить его о тамошнем житье, но он отвечал так глупо и такими общими фразами, как будто и не видал там ничего. Еще два-три вопроса, предложенные мной ему, убедили меня, что от него не добьешься никакого разумного ответа, и я уже не заводил с ним и речи во всю дорогу. Он сидел около меня, словно мертвый, не шевелясь, не двигаясь; только маленький нос его выглядывал из под огромной черной папахи, и нельзя было разобрать, спит он или нет. Единственный знак жизни, который он проявлял, это какое то полусонное, едва внятное восклицание к ямщику, которое он повторял довольно часто.

— Попопуживай, брат, попопуживай!

Шагом ли плелся ямщик, или гнал, что называется, во все лопатки, казак мой бормотал из под своей папахи:

— Попопуживай, брат, попопуживай!

— Да ведь он без того едет отлично,—замечал я.

Донской поправлял немного кверху свою папаху, взглядывал своими молочно-голубыми глазами, опущенными желтыми ресницами, вперед; потом папаху опять

надвигалась ему на брови и на глаза, опять глядел из под ее черных косм только один глупый нос,—и минут через пять опять раздавалось:

— Попопуживай, брат, попопуживай!

Последний переезд мой, как ты сейчас увидишь, был самую неприятною и неудобною частью моего дальнего странствия. Постоянное присутствие этого отвратительного кисляка еще более отравляло мне дорогу. Кто это только порадел мне так в Иркутске?

Уже вечером в день выезда под'ехали мы к Байкалу. Переехать его было еще можно, хотя он и дал уже много трещин. Напившись на станции чаю, я тотчас отправился далее и так хорошо заснул, что не слышал, как мы переехали Байкал. Я проснулся, как было уже почти светло и мы в'езжали в село на другом его берегу.

Меня страшали еще в Иркутске, что дальше этого села я в своем возке не доеду, что там пойдет уж колесная дорога. Я уговорился с Бретчером отослать ему отсюда свой возок обратно в Иркутск, а тут взять оставленный кем-то тарантас. Но этого пока не понадобилось. Впереди было еще довольно снегу, и я мог продолжать путь в своем возке весь этот день до самого Верхнеудинска куда приехал вечером. Здесь пришлось мне бросить свой возок. Это затруднило бы меня порядком, если бы на станции не случился какой то господин, ехавший в Иркутск, которому я и передал его.

Смотритель станции, поляк, был пьянехонек; с ним, не менее пьяный, бушевал тут какой то его приятель. Прочитавши мою дорожную, где я был прописан государственным преступником, он и приятель его приступили ко мне с пьяными речами и начали рассказывать, что они тоже пострадали за правду. Из рассказа смотрителя оказывалось, что он хотел выслужиться и донес на своих приятелей, а приятели запутали и его. По его мнению выходило, что правительство честности не умеет ценить. Потом он принес какие то доказательства своего дворянского происхождения и, неизвестно зачем, показывал мне. Приятель его сообщал тоже, что он государственный преступник: золото перевозил через китайскую границу. Я насилиу отделался от этих надоедал.

Ночью уже не привелось мне спать. Тряские перекладные кибитки отбивали и грудь, и спину. В продранную со всех сторон рогожу кузова свистал ветер. Тут уж «попопуживай» моего казака вывело бы меня окончательно из терпения, если бы его слушался хоть один ямщик.

Дальше, после двух станций на колесах, приходилось ехать две станции на полозьях, потом опять на колесах, и так всё в перемежку. Ямщиками стали попадаться буряты с косичками позади, и с особенной грацией умеющие закладывать под мышку свой бич. На станциях останавливались мы, большею частью, у так называемых «семейских», то есть переселенных некогда сюда семьями старообрядцев.

Следующей ночи я уже не рискнул провести в повозке, и мы остановились ночевать в тесном и грязном уголке станционного дома, потому что места получше были уже заняты четырьмя проезжими, прибывшими раньше меня. Между прочим, тут был один молоденький, морской офицер со спутником в обыкновенном платье,

молчаливым, суровым на вид, белокурый молодой человек. Оба ехали на Амур. Я вписываю эту встречу для того, чтобы ты напомнила мне при случае рассказать тебе подробно трагический конец этого белокурого господина. Я познакомился с ним в Нерчинске; потом он был и здесь на промысле, и возвратился в Нерчинск, как будто только для того, чтобы быть там зверски зарезанным.

Я отдыхал и дальше только, когда дорога шла по льду и можно еще было добираться от станции к станции на саних. В кибитке же, кроме тряски, не малую неприятность доставляла пыль, которая подымалась на дороге столбом, несмотря на то, что везде кругом еще лежал снег.

Наконец, на пятый день мы спустились с Яблонного Хребта и часов в шесть приехали в столицу Забайкалья — Читу. У меня было из Иркутска письмо к одному из местных жителей, и я послал его с казаком. Этот господин скоро приехал ко мне на почтовый двор и просидел у меня весь вечер, так как я решил тут переночевать. Он предложил прислать мне для дальнейшей дороги крытую кошеву и говорил мне, до что я еще до самого Нерчинского завода могу доехать на саних.

Он же обещал мне, дать знать о моем приезде Завалишину,¹⁾ и на следующее утро Завалишин пришел ко мне. Это еще чрезвычайно бодрый старик, живой и бойкий не хуже нашего приятеля Цебрикова,²⁾ но несколько на него не похожий наружностью. В густых, еще темно-русых, довольно коротко остриженных волосах его чуть заметна легкая седина; роста он небольшого, худощавый; гладко выбритый подбородок выдался немного вперед; в тонких губах заметна хитрая ирония; небольшие, точно прищуренные глаза, живые и быстрые; нос с легкой горбинкой, немного пригнутый к губам; лоб невысокий, и прямой, виски зачесаны к глазам, как носили когда то. Он вошел ко мне в длинной шубе, надетой в рукава и подвязанной и подпоясанной крест на крест вязаным шарфом, в меховой шапке с ушами. Когда он снял всё это, то остался в каком то казакине со стоячим воротником, застегнутом сверху до низу на крючки и в заправленных в меховые сапоги (или по здешнему — унты) штанах. Вообще, он имел вид казака. Не даром он писал столько в защиту несчастного здешнего, созданного Муравьевым казачества. Он и мне принялся рассказывать о положении казаков.

¹⁾ Завалишин, Дмитрий Иринархович, декабрист (1804—1892), лейтенант флота, член Северного Общ-ва; вернулся в Россию в 1863 г., автор мемуаров. Многочисленные статьи его о Сибири перечислены В. И. Межовым в „Сибирской библиографии“. СПб., 1892. (Указ.).—Его статьи о колонизации на Амуре, направленные против Н. Н. Муравьева-Амурского и вызвавшие даже распоряжение Муравьева о высылке автора из Сибири, — были напечатаны в „Морск. Сборнике“ (1858—1859), „Вести: Промышленности“ (1859) и друг. изданиях. Статьи эти вызвали обширную полемическую литературу, как в столичной, так и в сибирской прессе. — См. также статью С. Манасеина «Рус. Стар.» 1906, т. 122 (Завалишин в Сибирь).

²⁾ Цебриков, Николай Романович, поручик л.-гв. Финляндского полка, за прикосновенность к восстанию 14 декабря 1825 г. был арестован, содержался в крепости разжалован в солдаты и переведен в Кавказский корпус; в 1855 г. ему был разрешен въезд в столицы. Умер в 1866 г. В 60-х г.г., несмотря на свой преклонный возраст, Цебриков живо интересовался современными ему литературными и общественными течениями; ср. напр., рассказ В. Острогорского (Из истории моего учительства. СПб. 1914 с. 57—59) об участии его в кружке студенческой молодежи.

Когда я спросил его, отчего он не поедет в Россию, он отвечал, что не хочет ехать до тех пор, пока его не отвезут туда на казенный счет; а переписка, которую он завел по этому поводу, не привела, да и не приведет, вероятно, ни к чему. Такого же рода переписку ведет он и с цензурой о печатании своих статей о Сибири, и тут ничего не выходит. Вообще, он, кажется, такого характера, что не может оставаться ни минуты без какой-нибудь тревожной деятельности. В манерах, в словах постоянно какая-то беспокойная торопливость. Во всем, что он ни говорил, проглядывало как будто совершенное довольство своим положением (т. е. лично за себя); участие, которое он принимает во всех местных интересах, достойно было бы лучшего предмета,—и тогда, конечно, было бы и плодотворнее. Грустно, а между тем надо признаться, что правдивые статьи Завалишина об Амуре только озлобили против него местные власти, но никого здесь не просветили и не улучшили положения несчастных переселенцев ни на волос. Не далее, как в эту весну, отправилось туда против желания пятьсот казачьих семей из здешних окрестностей. Всё это шло как на смерть, разоренное, несчастное, словно их вели на казнь за какое-нибудь страшное преступление. Весна стояла суровая, беспрестанно грозившая возвратиться к зимним обычаям. Дули пронзительные студеные горные ветры, веяли снежные пурги, сменяясь, по временам, морозами,—и в такую-то пору жалкий обоз потащился отсюда с женщинами, с еле прикрытыми от холода детьми. Стон стоял в этом унылом таборе. Хоть бы подождали лета-то и тепла. Но у здешних администраторов дальновидные соображения. Они принялись за переселение так рано, чтобы это несчастное новое поселение успело, прибывши на Амур, возделывать ныне же землю для себя. А о том никто не подумал, что ведь до этого надо еще где-нибудь уселиться, устроить себе хоть какой кров от непогоды, хоть чем-нибудь защитить семью и детей от окончательной гибели. Вместо отдыха после этого каторжного пути, надо было заняться рубкой леса, стройкой изб, и уж потом, разве, думать о хлебопашестве. И весь этот народ был оторван уже от устроенного своего хозяйства, от готового дома и поля. Привычка смотреть на народ, как на какую-то глину, из которой можно месить что угодно, до того сильна, что теперь иркутские администраторы находят нелепыми притязания (это притязания, по их мнению) сохранить на Амуре свои человеческие и гражданские права, свое самоуправление и самостоятельный суд. «Дать копейку тридцать лишних нашим,—рассуждают государственные люди Иркутска,—так и наши пойдут». А не пойдут—предполагается при этом, так на это есть нагайки. Страх, как бы что свежее не забралось в страну и не уронило их авторитета—вот единственный рычаг всех действий здешней власти.

Говоря о предстоящей мне жизни на Нерчинских заводах, Завалишин отзывался уж через-чур снисходительно (даже панегирически) о том обществе, в какое я попаду. Это сильно свидетельствовало о том, как успел он обжиться здесь и сжиться с тем, что человеку новому и свежему вовсе не может казаться особенно привлекательным. Судя по словам Завалишина, можно было подумать, что я попаду сразу в общество таких прогрессистов, что и не замечу, что попал в него из другого круга. «Если-бы знали в Петербурге,—говорил Завалишин,—суда-бы не ссылали. Это всё равно, что шуку в море утопить». Да, действительно, в словах

гуманности, прогресса, свободы здесь нет недостатка, но затем... Впрочем, мне совестно нападать на здешнее общество за его разлад со словом и делом. А выше-то не то ли же самое?.. Где же наше-то «словопренье» перешло в дело?

Мне было интересно послушать Завалишина о том, как препровождали их сюда; но он мало останавливался на подробностях этого давнего для него прошедшего и больше говорил об Амуре. Вот, однако-ж, две-три черты. Завалишин следовал со второй партией. Первая была закована в кандалы, как следует; для второй была сделана льгота, и позволено было запереть цепи на замочки так, чтобы можно было их снимать по желанию. Замков в крепости не оказалось, послали на рынок, и там были приобретены маленькие медные замочки. Многие были с разными чувствительными девизами, например: «Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь», «Кого люблю, того дарю». У Завалишина были замочки именно с последнею надписью.

В Ярославле их поместили в гостинице. Они там ужинали. Так как не велено было никого допускать к ним, то разные местные жители (в тот числе и власти, начиная с губернатора) поместились в коридоре со свечами в руках, вместо прислуги, чтобы посмотреть, когда они выходили садиться в экипажи.

В Тобольске всю партию приютил у себя в доме губернатор. Их сводили в баню и дали хорошие постели. Но ночлег не удался. Вслед была отправлена третья партия. С'езжаться они были не должны, и ночью прискакал курьер с известием, что третья партия близко. Всех подняли с постелей и повезли далее.

Вот и всё, что рассказал мне Завалишин собственно о себе.

Он остался у меня до тех пор, пока в мою новую повозку не запрягли лошадей, и я не двинулся со двора. Повозке своей я был как нельзя более благодарен: я не зяб, сидеть было хорошо. Да и дорога шла очень хорошая почти до самого Нерчинска. Мы ехали всё по льду, реками, и только на станциях тяжело было подыматься на берег, уже совершенно обнаженный от снега.

Мне кажется, с самого от'езда моего из Петербурга, не сжималось у меня сердце такою болезненною грустью, как в то время, когда я в'езжал в город Нерчинск. Это было часа в четыре дня 2-го марта. Самое ли название это или то, что печальная цель моего пути уже так близка, но я с трудом удерживал наплывавшие на глаза слезы.

Писарь в жаркой и угарной станции сказал мне, что брат мой был здесь на масланице, и что ему поручено дать знать о моем приезде одному знакомому брата. Я расположился пить чай и велел ему сходить.

Через полчаса этот господин явился и пригласил меня к себе с тем, чтобы я переночевал у него. Он хотел сейчас отправить эстафету к брату известить о моем приезде и попросить его выслать лошадей на первую станцию от Нерчинска, чтобы я мог проехать к нему на Казаковский золотой промысел. Тут я узнал, что брат болен; у него отнялись ноги от простуды. Я написал тотчас же письмо к нему с тем, чтобы выехать из Нерчинска, когда он возвратится с ответом. Вялый казак мой, разумеется, оставался пассивным зрителем всего этого и делал, что я хочу.

Ответ пришел часов в одиннадцать утра на другой день, и с ним три твои письма, которых я ждал более всего. Брат, разумеется, выехал бы сам ко мне на встречу, если бы болезнь не удерживала его в комнате. Я поспешил в дорогу.

На первой станции Бянкине, куда я доехал еще довольно изрядно, меня уже ждала тройка лошадей и кучер из Казаковского промысла. Делом нескольких минут было переменить лошадей, но не так-то скоро пошла дальнейшая дорога. Она была отвратительна, шла горными хребтами, где из под снега торчали остроконечные камни, пни; местами и снег был сдут ветром. Только часам к семи вечера дотащился я эти без малого сорок верст. Вот спустились мы в темную падь, запахло дымом, слышался лай собак; повозка моя миновала ряд жалких домишек, видных в потемках только по бледному огоньку в их крошечных оконцах, и, наконец, перед нами распахнулись ворота белого приставского дома, в котором все окна ярко светились. Брат, ожидая меня, велел зажечь свечи во всем комнатам.

Как я был рад свидеться с ним после стольких лет разлуки, как легче вздохнулось мне в этот вечер после почти трехмесячного скитанья, мне нечего рассказывать. Мы и заплакали, и проговорили потом за полночь.

Но ведь и тут всё еще был не конец пути. Мне оставалось ехать еще двести пятьдесят верст; сделать этот путь в сутки нельзя было надеяться при здешних дорогах. Меня уже опять начали пугать, что до Нерчинского завода я не доеду на полозьях.

Следующий день я весь пробыл у брата, и только на третий, после обеда, часа в три, поехал дальше. Брат говорил мне утвердительно, что я могу оставить всё лишнее из своего хозяйства у него, потому что из Большого завода вернусь к нему же. Там уже решили поместить меня в Казаковском промысле.

Мне остается рассказать уже очень немного. С теми же почти неудобствами, то есть с перекладками из саней в телегу и обратно, отчасти также с холодом и голодом, добрался я по горам и долам до Нерчинского завода только часов около девяти вечера на другой день.

Чтобы соблюсти все формальности, я отправился прямо к дому горного начальника¹⁾ и послал к нему своего казака с бумагами и с просьбою—дозволить мне остановиться в гостинице. Казак возвратился с дозволением и с провожаемым. То, что называется в Нерчинском заводе гостиницей, есть пустой неболь-

¹⁾ Нерчинский горный начальник Оскар А.-др. Дейхман, которому обещал написать письмо с просьбой отнестись внимательнее к М. И. М-ву М. С. Корсаков; несмотря на это, О. А. Дейхман, равно как и брат М. И. М.—ва, Петр Илларионович, пострадали „за послабления, оказанные в содержании государственного преступника Михайлова“. Оба они были смещены с занимаемых ими мест, причем Дейхман был исключен со службы. О пребывании М. И. М.—ва на Казаковском промысле, о приезде туда Шелгуновых, а также о смерти М.—ва—см. в статье Екат. Оск. Дубровиной (урожд. Дейхман) в журн. „Беседа“ 1905, № 12 (Памяти Михайлова). В своих воспоминаниях В. О. Дубровина передает неверные подробности о жизни М.—ва в ссылке и особенно о его смерти.

шой дом, нанимаемый от казны для приезжающих, и на гостиницу так же мало похож, как любой дом ¹⁾).

Я только что расположился около самовара в довольно просторной, едва меблированной комнате, как ко мне приехал сам горный начальник и подтвердил то, что говорил брат. От меня зависело уехать из Большого завода, когда я хочу. Само собой разумеется, я был этому чрезвычайно рад и сразу решил не оставаться тут более двух-трех дней.

Так я и сделал. Я познакомился в это время почти со всеми официальными лицами завода и встретил во всех большое к себе внимание. Меня каждый день приглашали на обеды и вечером на чай. Я нашел тут людей вообще довольно просвещенных, с довольно здравыми взглядами на вещи, хотя, как уже заметил прежде, и не могу подтвердить преувеличенного мнения о них Завалишина. О том, что такое здешняя даль, и как скоро получают здесь сведения из метрополии, ты можешь лучше всего судить по тому, что в бытность мою в Нерчинском заводе, стало быть около половины марта, здесь не получалось еще ни одной ни петербургской, ни московской газеты от первого января.

Внешний вид завода произвел на меня самое неприятное впечатление. Всё так жалко, бедно, как-то полуразрушено, ничем не скрашена эта заброшенная глухая жизнь. Горы кругом стоят голые, неприветливые, темные лачужки раскиданы в яме, без всякого порядка, без всякой, повидимому, мысли о какомнибудь удобстве. Дома для горных чиновников получше других, но и они построены кое-как и не обещают долго простоять. Кроме этих домов, приезжий может приютиться только в этом ветхом сарае, который называется гостиницей. Частные дома—это избышки об одной, много о двух тесных горенках. Квартыры побольше и такой, где бы можно было спастись от холоду зимой или, по крайней мере, от простуды, нет. И всё это имеет вид каких то бивуаков, какой-то временной стоянки, перепутья. Вот-вот все снимутся с места, сошьют свои шатры и откочуют дальше. А между тем, ведь это главный пункт всего горнозаводского управления в Забайкалье. Остаться жить тут было бы очень уныло для меня,— и я радовался, что могу поехать обратно в Казаково.

Мой кислый казак отправился на другой же день обратно, с почтой, и с ним послал я письмо к тебе, для отправки его через Малиновского из Иркутска. Познакомившись со здешними почтами, я боюсь, что ты так и не получила его, если оставила Петербург в мае.

Обратная моя поездка к брату была уже лишена всякой официальности. Я поехал с нерчинским заводским доктором, который отправлялся по округу. Я был при нем, как «будущий».

Меня официально вписали в число работников на какой-то, впрочем, другой рудник, название которого я не узнал до сей поры. Поднимать дело о переводе меня на заводы мне не посоветовали, потому что расчет годов по третье-

¹⁾ Тут слугой был дослуживший срок каторжный, из помещичьих крестьян Екатеринославской губ. Их было сослано шесть человек за то, что они наказали (как говорил он мне) помещика лозами. Примечание М. И Михайлова.

му разряду (к которому я причисляюсь) для меня гораздо выгоднее. Выходит не шесть, а четыре года, да из этого времени можно будет выкинуть еще полтора года, которые кладутся на путь сюда.

11-го марта на закате, я мог бы воскликнуть: «берег!», если бы и этот берег, несмотря на все свои внешние удобства, не было все-таки, если не тюрьмой, так землей изгнания.

Я начал писать этот длинный рассказ, когда горы, обступившие со всех сторон наш золотой промысел, были еще совсем голы, а лощина, где он выстроился, покрыта снегом, и дом, в котором я живу с братом, часто весь дрожал от порывистых и холодных ветров, предшествующих весне. Оканчиваю его уже посреди лета. Легко сказать,—ведь уже полгода, как я простился с тобой, и три с небольшим месяца, как я на месте ссылки. С томительным нетерпением ждал я весны, следил каждый день за этими горами, за этим лугом, которые начинали зеленеть так туго, напрасно поджидая дождя. Наконец-то, тучи над ними сжалились и стали поливать их. Теперь так хорошо всё кругом моего жилища; зеленая падь полна цветов, горы тоже позеленели и стоят уже не сплошной темной грудой; ближайшие гряды их отделяются от дальнейших, которые, чем дальше, тем голубее. Хорошо кругом, а грустно. Я по целым часам простаиваю иногда на деревянной террасе дома, глядя и направо, и налево, и меня не покидает такое точно чувство, какое внушило прекрасную немецкую песню: «Wenn ich ein vöglein wär». Из за этих гор идут несколько дорог к самому почти дому; но как редко, какими урывками приходят по этим дорогам дорожные вести! Кукушка не перестает кричать надрывающим голосом, и я теперь очень хорошо понимаю, почему ссыльные ждут весной ее зова, чтобы уйти, куда глаза глядят.

Дни мои скучны и однообразны. От пера к книге, от книги к перу. Но вместо книг (и какие это книги, русские журналы, доходящие ко мне урывками, где мысль напрасно напрягается найти выражение), вместо книг, хочется живого слова: вместо пера хочется живого дела, живых забот. Я основал здесь школу, и каждое утро часа по два провожу здесь с мальчиками,—и это лучшее мое развлечение. Как ходил я из угла в угол в своих тюрьмах, так брожу я часто и здесь по саду, и по террасе, и с такими же почти мыслями. Не думаю, чтобы мне было тяжелее, если бы я возился с лопатой или погонял лошадей на так называемом разрезе, то есть на настоящей каторге, откуда до дому нашего доносится грохот бочки, промывающей золото, и журчание запруженной речки.

С грустным чувством дописываю я свой рассказ. Я как будто прерываю беседу с тобой. Когда же сменится она живою беседой ¹⁾?...

¹⁾ Шелгуновы, которых так ждал М. И. М—в, приехали в Казаково в августе 1862 г. с намерением освободить его и затем всем вместе бежать за границу. Но 28 сентября Шелгуновы были уже арестованы „по подозрению в замысле об облегчении участи М—ва“. До января 1863 г. Шелгуновым удалось прожить в соседней слободе, отстоявшей от промысла в 15 верстах, а после нового года они были переведены в Иркутск. В начале 1863 г. Л. П. Шелгунова просилась навсегда с М. И. Михайловым.—См. ее записки „Из далекого прошлого“. СПб., 1901, с. 117—119.

У К А З А Т Е Л Ь.

Александр II Николаевич 8, 12, 57, 58, 60,
75, 76, 78, 94, 121.

Андрей, арест. 119—120.

Анненков, Ив. В. 58.

Анненков, Пав. В. 58.

Анучин, д-р 102.

Аргиропуло, Пер. Эм. 20, 25.

Архангельский, М. 81—83.

Бакунин, Мих. А-др. 135, 136, 145, 147.

Бездна, село (Казанск. губ.) 110, 114.

Беклемишев, член гл. упр. Вост. Сибирью
134, 135, 145.

Белозерский, Н. 13.

Берников, жанд. 130—132, 134, 140, 142,
144—145.

Блан, Луи 21, 24.

Блюмер, А. 28.

Бобарыкин, П. Д. 9.

Богучарский, В. Я. 9, 13.

Боков, П. И. 5, 48, 56, 77, 78.

Бурундуков, жанд. 83, 85, 87, 88, 91—96, 109.

Бутеро-Радали, кн. 125.

Бутурлин, А. П. 70—72.

Буцковский, Н. А. 70.

Валуев, гр. 125.

Василий Непомнящий, арест. 16, 99, 100,
105—107, 113, 114, 117, 119—121, 123,
124, 128.

„Великорусс“ (прокл.) 8, 47, 48, 56, 77.

Венцель-фон, К. Б. 70, 72, 74, 141.

„Веня“—см. Михаэлис, Е. П.

Виноградский, тобольск. губ. 95, 113, 127, 130.

Витмер, А. Н. 48.

Волоцкий, А. А. 70.

Гарибальди 125.

Гейне, Г. 23.

Герасимов, полк. 141.

Гербель, Н. В. 83, 146.

Герцен, Ал. Ив. 6—9, 11, 12, 22, 23, 58, 59,
82, 136.

Гольцмиллер, Ив. Ив. 20, 47.

Горянский, Ф. Ив. 4, 5, 15, 28, 35—38,
40—44, 50—53, 56, 58—61, 101.

Цадешмиллян, д-р 143.

Данненберг, Ф. Р. 56.

Дейхман, Оск. Ал. 18, 153, 154.

Декабристы 152.

Диккенс, Ч. 16, 17.

Добродеев, студ. 110.

Добролюбов, Н. А. 4, 8, 38, 79, 138.

Долгов, Ив., солд. 120, 121.

Долгоруков, кн. В. Андр. 24, 57, 60.

Долгоруков, кн. П. Вл. 24, 82.

Донской, каз. 148—150, 152—154.

Дружинин, Ал. В. 55.

Дубровина, Ек. Оск. 18, 153.

Дувинг, жанд. полк. 5.

Дюгамель А. О. 110, 111.

Екатерина II Алексеевна 120.

Елизавета Петровна, имп. 120.

Елисеев, Гр. З. 25.

Ефимьев, жанд. 75.

Ждан-Пушкин, упр. тобольск. комиссар.
комиссией 102, 131,

Желиговский, поэт 126.

Жемчужников, тобольск. прокурор 102,
116, 130.

Житков, жанд. полк. 20, 28—31, 53.

Жуков, фабр. 120.

Завалишин, Дм. Ир. 150—152.

Завячневский, П. Гр. 11, 20, 25, 41, 47.

Залесский, А., студ. 70.

Зарубин, жанд. капит. 31—34, 45, 46, 56, 61—63, 65.

Знаменский, тобольск. учит. 102.

Золотницкий, полк. 20—24.

Иван, арест. 105 — 107, 113, 120, 121, 123, 124.

Иванов, Ф., арест. 100, 101, 123.

Игнатьев, гр. П. Н. 69.

Илецкий, Мих.—псевдоним М. И. Михайлова 113.

„К барским крестьянам“ (К крепостным людям) (прокл.) 4, 6, 9, 10, 20, 26, 36, 39, 41, 42, 55, 74.

„К молодому поколению“ (прокл.) 3, 4, 6—11, 16, 24—28, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 48—51, 59, 60, 65, 73, 75, 85, 104.

„К русским солдатам“ (К солдатам) (прокл.) 4, 6, 9, 10, 20, 26, 41, 42, 55, 74.

Казаков, З. Ив. 96—98, 107, 110, 112, 124—126, 129, 131, 143.

Каменев, жанд. 14, 83—89, 91—94, 96, 109.

Кандауров, пл.-адъют. 68, 78, 89.

„Каракозовцы“ 8.

Карлейль 22.

Карниолин-Пинский, М. М. 70—72, 74, 77.

Карнеев, Н. М. 70, 71.

Каталинский, тобольск. учит. 102.

Кожанчиков, книгопр. 19.

Кокшаров, крестьян. 125.

Корсаков, М. С. 17, 135, 140—143, 145, 147, 148, 153.

Костомаров, Вс. Дм. 3—7, 9, 10, 15, 20, 25—28, 33, 33, 36, 37, 39—43, 49—53 55, 56, 60, 74, 75,

Костомаров, Н. Дм. 20, 27, 36, 42, 43.

Кранц Ф. Ф. 15, 58, 59, 60, 101, 141.

Крашенинников, библи. 19.

Кретчер, иркутск. чиновн. 143, 147, 149.

Кропоткин, П. А. 143.

Крулский, Стан. 99—106, 109, 111, 112, 117, 118, 123, 124, 132—134.

Кувичинский, тобольск. полицм. 97, 98, 106—107, 110, 112, 130, 131.

Кузнецов, сенатск. об.—секр. 70—74, 77, 78.

Курочкин, В. Ст. 25.

Курочкин, Н. Ст. 25.

Лаврецов, В. Я. 19, 20.

Лавров, П. Л. 4, 25, 61, 69.

Лобанов, В. В. 56.

Лучинин, В. Ф. 48.

Львов, Н. М. 137.

Львов, Ф. Н. 137—139, 144—147.

Любимов, А. С. 55.

Маевский, Иос. 126, 127.

Майков, Ап. Н. 53.

Малиновский, 143, 147, 148, 154.

Мартыанов, П. А. 8.

Матвеев, д—р 72.

Медер, бар. 26.

Мерославский, Л. 126.

Митусов, Г. П. 70, 72—74, 144.

Михайлов, Ил. 72.

Михайлов, М. Ил.—passim.

Михайлов, Пав. Ил. 90.

Михайлов, Петр Ил. 18, 145, 152—155.

Михаэлис, Варв. П. 78.

Михаэлис, Евг. П. („Веня“) 3, 7, 9, 26, 30 43, 44, 56, 80.

Михаэлис, Мар. П. 78.

Мицкевич, Ад. 27.

„Молодая Россия“ (прокл.) 8.

Муравьев-Амурский, гр. Н. Н. 134, 135, 146, 150.

Мухин, 19.

Назимов, Вл. Ив. 126.

Народники 70-х гг. 8.

Нарышкина, кн. 120, 121.

Незнамов, делопр. 55.

Неклюдов, чин. ос. поруч. 135.

Некрасов Н. Ал. 5, 53, 83, 146.

Николаев, жанд. 130, 131, 139, 140, 142, 144.

Николай I Павлович 121.

Новоселов, полк. 100.

Обручев, Вл. Ал. 26, 47, 48, 56, 77, 79, 102, 124.

Обручев, Н. Н. 48.

Огарев, Н. Пл. 6—9, 23, 25, 41, 106.

Панаева, Авд. Як. 5.

Панкратьев, пл.-адъют. 69—71, 75, 76, 78.

Пантелеев, Л. Ф. 7, 48.

Пекарский, П. П. 83, 146.

Пердов, Эр. П. 47—48.

Петрашевский, М. В. 57, 94, 134—139, 144—147.

Петров, Антон 110.

Петровский-Ильенко, П. С. 41, 42.

Пиленкова, директр. тобольск. тюремн. комитета 109.

Пинкорнелли, И. Ф. 79, 81, 83.
Писарев, Д. И. 103.
Плещеев, Ал. Н. 36, 146.
Плотников, тобольск. учит. 101, 102.
Полонский, Я. П. 83, 146.
Поталов, А. Л. 24.
Прудов, 21, 24.
Путилин, И. Д. 15, 26, 28, 29, 37, 38, 40, 43—
45, 49—53, 56, 101.
Пушкин, А. С. 21, 22, 80.
Пыпин, А. Н. 83, 146.

Ракеев, жанд. полк. 19—24.
Ростовцев, Як. А. 27, 36.

Самохвалов, жанд. 34, 40—42, 46, 47, 57, 61.
Сваричевский, М. Н. 56.
Семевский, А. И. 63.
Семенов, студ. 110.
Серно-Соловьевич, А. А. 7—8, 26, 48, 49, 83,
146.
Серно-Соловьевич, Н. А. 8, 9.
Сеченов, — — , 5.
Сколков, ген-майор 102.
Слепцов, — — 48.
Смирдин, книгопр. 19.
Собещанский, Игн. Ф. 54, 55.
Соколов, тобольск. иже-губ. 101, 102, 107, 116,
131.
Соколов, Н. И. 9.
Соллогуб, гр. Вл. А. 137.
Сорокин, коменд. 68, 75, 80—82.
Сороко, Иос. К. 4, 10, 20, 41, 42.
Стороженко, А. И. 55.
Строганов, гр. 125.
Студенческие волнения 1861 г. 12, 47, 56,
62, 63.

Суворов, кн. Ал. Арк. 17, 69, 82, 83, 147.
Сухомятин, кап-лейт. 185.

Тимашев, А. Е. 24.
Троцкий, коменд. 83.
Трубецкой, кн. Н. Пл. 48.

Уейский, Корн. 119.
Утин, Н. Ис. 12, 76.

Федоров, жанд. офиц. 53—55.
Фонвизин, Ив. С. 55.
Фризель, управл. тобольск. приказом ссыль-
ных 96, 108, 109, 113, 130.

Цебриков, Н. Р. 150.

Чернышевский, Н. Г. 4, 5, 8—11, 25, 26, 36,
41, 42, 48, 69, 78, 83, 103, 139, 146.

Шахматный клуб 25.

Шелгунов, Мих. Н. 5, 18.

Шелгунов, Ник. Вас. 3—12, 15, 16, 18, 20,
25—29, 31, 41, 42, 44, 49, 52, 54, 63, 71,
79, 81, 83, 84, 89, 110, 146, 147, 155.

Шелгунова, Людм. П. (ур. Михаэлис) 3—7,
13—18, 20, 26—30, 37, 40, 44, 46, 52, 54,
61, 62, 65, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 89, 90,
94, 109—111, 113, 133, 143, 149, 150, 154,
155.

Шелехов, иркутск. в. губ. 140, 141, 143, 147.

Штакеншнейдер, Ел. А. 4—6, 26.

Штранден, арт. офиц. 63.

Шувалов, гр. П. Андр. 5, 6, 15, 24—26, 37—40,
43—46, 48, 49, 52—54, 56—58, 60, 101, 148.

Щапов, Аф. Пр. 110.

Щербатский, полк. 28—29, 141.

Энгельгардт, арт. офиц. 63.



